

СТИХИ О ЛЮБВИ



АНДРЕЙ
ВОЗНЕСЕНСКИЙ

СТИХИ
О
ЛЮБВИ
•
АНДРЕЙ
ВОЗНЕСЕНСКИЙ



♣
Стихи
о
любви
♥

АНДРЕЙ
ВОЗНЕСЕНСКИЙ


СТИХИ
О
ЛЮБВИ


МОСКВА

ЭКСМО

2008

УДК 82-1
ББК 84(2Рос-Рус)6-5
В 64

Оформление *А. Новикова*

Вознесенский А.А.
В 64 Стихи о любви / Андрей Вознесенский. — М.: Эксмо, 2008. — 352 с.
ISBN 978-5-699-28005-6

Парадоксальность, метафоричность дарования Вознесенского, быть может, сильнее всего ощущаются в его стихах о любви. Здесь нет полутонов: либо трагическая безысходность, либо ликующие, звенящие ноты счастья.

Поэт откровенен до дерзости. Высокий романтизм переживания сочетается с чистой эротикой. Многие стихотворения этого сборника вошли в мировые классические антологии стихов о любви.

УДК 82-1
ББК 84(2Рос-Рус)6-5

© Вознесенский А.А., 2008
© Составление и оформление.
ISBN 978-5-699-28005-6 ООО «Издательство «Эксмо», 2008



КОГДА ПОТРЕБУЕТ ПОЭТА...

Андрея Вознесенского называли счастливым. С четырнадцати признан Пастернаком, впоследствии написавшим: «Я – в больнице. Слишком часто стали повторяться эти жестокие заболевания. Нынешнее совпало с Вашим вступлением в литературу, внезапным, стремительным, бурным. Я страшно рад, что до него дожил. Я всегда любил Вашу манеру видеть, думать, выражать себя. Но я не ждал, что ей удастся быть услышанной и признанной так скоро». Мэтр отговорил подростка поступать в Литературный институт, заявив: «Вас там ничему не научат, только испортят». Вознесенский поступает в Архитектурный. Он увлекается живописью, блистательно сочиняет диплом с вертящимся рестораном и вскоре легко отбрасывает выученное.

Пожар в Архитектурном!
По залам, чертежам,
амнистией по тюрьмам –
пожар! Пожар!

По сонному фасаду
бесстыже, озорно
гориллой краснозадою
взвывается окно!

А мы уже дипломники,
нам защищать пора.
Трещат в шкафу под пломбами
мои выговора!

.....

...Все выгорело начисто.
Милиции полно.
Все — кончено!
Все — начато!
Айда в кино!

Поэтическая стихия побеждает. После первой крупной публикации — поэмы «Мастера» — критика захлеб пишет об Андрее Вознесенском, отводя ему место в первом ряду новой советской поэзии. Судьба благоволит к нему и дальше. Его стихи переводят на иностранные языки, он выступает в самых крупных аудиториях не только в России, но и в Париже, Нью-Йорке. «Nouvel observateur» пишет: «Вознесенский — самый великий из ныне живущих поэтов России». Поэту благоволит элита художественной интеллигенции Москвы из окружения Пастернака — Рихтер, Журавлев, Нейгауз, Асмус, Андроников, Лиля Брик, актеры МХАТа. Поездки за рубеж дарят ему знакомства с самыми крупными величинами европейской и американской культуры, на юношескую ментальность российского поэта обрушивает-

ся искусство Пикассо, Шагала, Миро, Арагона, поэзия американского авангарда – Аллен Гинзберг, Лоуренс Ферлингетти, тексты Боба Дилана и других. Владея английским, Андрей Вознесенский легко обменивается культурными месседжами с иностранными сверстниками. Вместе с тем незыблемо живут две главные темы его поэзии – Россия и любовь. Разрабатывая их, поэт расширяет картину видения российской действительности, в поле его зрения попадают: урбанизм больших городов, сельские храмы, давящий пресс новых технологий. Вокруг каждой публикации Вознесенского вспыхивали споры, иные критики видели в нем еретика, категорически не принимая лихость оценок времени и событий, в бешенстве обрушиваясь на кощунственность метафор, порой плохо зашифрованную ненормативную лексику. «Что делать с Вознесенским?» – восклицает Николай Асеев в «Литературной газете».

Однако голоса почитателей звучат громче, они восторженно оценивают смелость метафор и рифм поэта. «За ним я знаю недостаток злой: /кощунственно венчать «гараж» с «геранью»; «Ремесло наши души свело, /заклеймило звездой голубою. /Я любила значенье свое / лишь в связи и в соседстве с тобою», – пишет Белла Ахмадулина. В эти годы в сознании читателей формируется определенный костяк молодых поэтов: «Нас мало, нас, может быть, четверо!» – восклицает Андрей Вознесенский. На классической фотографии, обошедшей все СМИ: Воз-

несенский, Евтушенко, Окуджава, Рождественский. Конечно, каждый идет своим путем, обрастает новыми друзьями, почитателями. Ширится пространство поэзии, она выходит на стадионы. Школьная дружба с Андреем Тарковским пройдет через всю жизнь Андрея Вознесенского стихами, воспоминаниями...

Особую любовь, массовое признание получают его лирические стихи. Десятки влюбленных объясняются строками его стихотворений: «Осень в Сигулде», «Бьет женщина», «Бьют женщину», «Не покидайте былых возлюбленных», «Замерли»... Поражает многоликость его героинь: Мадонна, Беатриче, лагерная проститутка, девочка в автомате, «двоюродная жена»; поэт восторженно превращает падших женщин в богинь, и наоборот, упоенно воспеваает трэфовых и бубновых дам, вторгающихся в судьбу человека. Как и водится у больших лириков, Вознесенский преклоняется перед женщиной как таковой:

Но чист ее высокий свет,
отважный и божественный.
Религий – нет,
знамений – нет.
Есть Женщина!..

Гимном женщине становится поэма «Оза», во многом автобиографичная.

Аве, Оза. Ночь или жилье,
псы ли воют, слизывая слезы,
слушаю дыхание твое.
Аве, Оза.

.....

Мать Владимирская, единственная,
первой молитвой – молитвой последнюю –
я умоляю – стань нашей посредницей.
Неумолимы зрачки Ее льдистые.
Я не кощунствую – просто нет силы.
Жизнь заведи и успехи минутные,
наихрустальнейший голос в России –
мне ни к чему это!
Видишь – лежу, – почернел как кикимора.
Все безысходно...

Осталось одно лишь –
грохнись сй в ноги,
Мать Владимирская,
может, умолишь, может, умолишь...

Трагический разлом, предвещающий разрыв героини с прошлым, совпадает с черной порой в жизни поэта.

На вершине славы случается обвал, разделивший его судьбу на две неравные половины. Встреча главы страны Н.С. Хрущева с интеллигенцией 8 марта 1963 года сломала хребет многим художникам, надолго выброшены из культурного процесса Эрнст Неизвестный, Василий Аксенов, Маргарита Алигер; художники студии Билютина, участники Бульдозерной выставки и многие другие. Но наиболее яростное негодование обрушивается на Вознесенского. Вот что вспоминает он в эссе «Голубой зал Кремля».

«Тяжелей всего было видеть не торжествующие рожи врагов в зале, а ускользающие

улыбки приятелей в фойе во время перерыва, прячущих глаза, будто не узнающих тебя.

В центре фойе, в кругу литклассиков, среди серых пиджаков врезалось в память весеннее салатно-зеленое платье Зои Богуславской, молодого критика и начинающего прозаика. Рядом что-то вещал Лебедев. Заметив меня, она развернулась и демонстративно, на весь зал, поздоровалась. Подошла. Заговорила. Номенклатура обиженно выделяла адреналин. В этом поступке, рискованном для ее судьбы, озонно проступила чистота и красота ее характера. Странно, вроде гонимым был я, но именно ее хотелось спасти, вытащить из круга вурдалаков.

Орет судилища орда.
Я прокаженным был, казалось.
И только женщина одна
подошла, не отказалась.

Живу меж темени, и луж,
и черепов, как Верещагин.
И женщина, как желтый луч,
мою дорогу освещает».

Возвращение в публичное пространство было непростым. Холуи режима находили в его творчестве западное влияние, называли поэта «прихвостнем» Аллилуевой, врагом строя. Неизменным было только сообщество шестидесятников, отношения людей высокого искусства, не поддавшихся политической кампании. Травля была долгой, изнурительной, все публикации поэта были остановлены, само имя его изымалось из литературного оборота. Еще

долго будет он выкарабкиваться из кризиса, друзья говорят: «...Он тяжело болеет, истончается до прозрачности». Власть ждет покаяния, но его не следует. Поэма «Лонжиомо», где возникает фигура Ленина, только наивными людьми могла быть воспринята, как примирение с режимом. Ленин в то время воспринимался как анти-Сталин, читатель видел в обращении к этой теме неприятие тоталитаризма. Постепенно бесспорный талант кумира молодежи находит все больше сторонников в культурном истеблишменте. Время меняется. Поэзия Вознесенского становится официально признанной, его стихи печатают в учебниках, его имя вписывается во все энциклопедии, он становится членом многих европейских академий.

В это время Юрий Любимов, художественный руководитель самого авангардного театра в Москве, ищет автора: «Нам нужна современность, нужен скандал! Найдите Вознесенского!» – говорит он Валерию Золотухину. Так возникает идея поэтического вечера, где актеры Таганки в первом отделении читают стихи, во втором – выступает поэт. Так возникает знаковый спектакль Театра на Таганке – «Антимиры». Ежедневно зал взрывается аплодисментами, происходящее на сцене выплескивается на улицу. Лучшие актеры театра В. Высоцкий, А. Демидова, В. Золотухин, З. Славина, И. Бортник, В. Смехов, В. Шаповалов – умножают популярность «Антимиров». Имя Высоцкого знает вся страна, его песни звучат в каждом доме.

В его репертуар неизменно включается песня не на собственные стихи – «Песня Акына» Вознесенского. Спектакль «Антимиры» идет свыше тысячи раз, надолго становясь визитной карточкой Таганки. Одновременно в биографию театра вплетается личная жизнь поэта. Тридцатилетний Вознесенский женится. Первые гастроли Таганки в Ленинграде становятся свадебным путешествием Вознесенского и его избранницы, известной писательницы Зои Богуславской (прообраз героини в «Озе»). Трагическая интонация его лирики смягчается, уходит надрыв, безысходность: «Чего тебе надо еще от меня», «Ты меня на рассвете разбудишь»...

В тех же шестидесятых возникает чисто российский феномен – чтение стихов на стадионах, в многотысячных залах. Первое выступление в Лужниках открывается вечером Вознесенского. Концерт транслируют по телевидению, вскоре традиция продолжается выступлениями Вознесенского, Окуджавы, Ахмадулиной, Рождественского, Ю. Казакова и др. Событие становится основой фильма Марлена Хуциева «Застава Ильича». Полуторачасовое чтение в Политехническом вызывает предельное раздражение чиновников, запрещающих фильм, он выйдет лишь через двадцать лет в усеченном виде. Стихи поэтов, собирающих массовые аудитории, безусловно, влияют на самосознание поколения. Как призыв, звучат многие строки из стихов Вознесенского:

Нам, как аппендицит,
поудалляли стыд.
Бесстыдство – наш удел. Мы попираем смерть.
Ну, кто из нас краснел?
Забыли, как краснеть!

.....

Обязанность стиха —
быть органом стыда.

Строки из «Порнографии духа», «Плача по двум нерожденным поэмам», «Ностальгии по настоящему», «Реквиема оптимистического» по Владимиру Высоцкому попадают в выступления на дискуссиях, цитируются в телевизионных передачах.

Аудитория поклонников поэзии Вознесенского возрастает благодаря песням. Встречи с Микаэлом Таривердиевым, Раймондом Паулсом, Арно Бабаджаняном, Евгением Мартыновым делают имя элитарного поэта всенародно узнаваемым... «Миллион алых роз», «Песня на «бис», «Начни с начала», «Барабан», «Ресторан качается», «Я пою в шумном городке» становятся хитами. После исполнения Аллой Пугачевой «Миллиона алых роз» песня переключается в Японию, США, Францию, ее исполняют ведущие эстрадные артисты.

И снова обвал. Вчерашний любимец публики свергается с Олимпа. На сей раз находится много поводов. Первый удар нанесен по Театру на Таганке. Любимов ставит новый спектакль «Берегите ваши лица» на стихи Вознесенского, в который вплетается «Охота на волков» Владимира Высоцкого, не представленная цензу-

ре. Спектакль запрещен, Любимов снят с должности художественного руководителя, театр подвергается длительным цензурным преследованиям.

На дворе 1967 год, ввод войск в Чехословакию. По радиостанции «Свобода» передают стихи Вознесенского «Стыд», студенты во всех странах выходят на площади. Это совпадает с отъездом дочери Сталина Светланы Аллилуевой за границу. Вознесенского вновь обвиняют в антисоветчине, во всевозможных западных влияниях, называют «прихвостнем» Аллилуевой. Некоторое время спустя выходит альманах «Метрополь», придуманный Василием Аксеновым, он сразу же публикуется на западе. Новый скандал, некоторых авторов исключают из Союза писателей (Ерофеев, Попов, Липкин, Лиснянская). Остальных унижают другими способами. Однако в полном объеме период репрессий вернуть уже невозможно, повторить процессы над Синявским и Даниэлем, высылку из страны А. Солженицына и Бродского после коллективных протестов интеллигенции власть уже не рискует.

И вновь Вознесенского увлекает стихия театра. Предложение Марка Захарова о совместном проекте знаменуется появлением в России первой рок-оперы «Юнона и Авось». Поэма «Авось», опубликованная в журнале «Юность» в 1974 году, превращена в спектакль, придуманный М. Захаровым, с необыкновенно яркой эмоциональной музыкой А. Рыбникова, оформ-

ленный молодым художником О. Шейнцисом с хореографией В. Васильева. Успех ошеломляющий! Беспрецедентная акция Пьера Кардена позволяет показать «Юнону и Авось» в Париже и Нью-Йорке; ведущие исполнители Николай Кораченцов, Елена Шанина и Александр Абдулов покоряют зарубежные сцены. Что-то в этой американо-русской мелодраме, построенной на реальных фактах истории, трогает и задевает наших современников, спектакль идет и по сей день, уже с новыми молодыми исполнителями: Певцовым, Раковым, Большой.

Параллельно театру Вознесенский задумывает серию живописных полотен в жанре видеопозии – **видеомы**. В нем вновь просыпаются архитектурно-живописные пристрастия. Он создает цикл картин о писателях: Пастернак, Маяковский, Цветаева, Ахматова, Гумилев, Есенин, Айседора Дункан, Барков и другие. Затем в видеомах воплощаются и другие сюжеты: «Бабочка» Набокова, «Девочка с пирсингом», «МММ» и боярыня Морозова с воздетой рукой, высмеивающей борьбу с курением. Не все разделяют новое увлечение Вознесенского, часть приверженцев его поэзии полагает, что видеомы – измена истинному предназначению, отказ от чистой поэзии. Но поэтическая звезда Андрея Вознесенского продолжает светить на небосклоне русской поэзии. Его новые стихи печатаются в периодике, издаются сборниками, входят во все антологии

мира. Его видеомы выставляют в последнее время в Пушкинском музее, в Париже, Нью-Йорке, Берлине. Его видеома-палиндром – круг, в котором «мать, мать, мать» переходит в «тьма, тьма, тьма» – становится символом и слоганом времени.

Как-то Александр Кабаков написал: «Мне страшно писать о Вознесенском, ибо поэт проносит за нас то, что нам не по силам сказать. Он – Ангел-хранитель нашего времени, в котором молод и он, и мы вместе с ним. Молодой поэт. Каждый день начинающий».

Присоединимся же радостно к этим словам.

Ирина Гринева



ПЛАВКИ БОГА

Пятидесятые

ПЕРВЫИ СНЕГ

Над Академией,
осатанев,
грехопадением
падает снег.

Парками, скверами
счастье взвилось.
Мы были первыми.
С нас началось —

рифмы, молитвы,
свист пулевой,
прыганья в лифты
вниз головой!

Сани, погони,
искры из глаз.
Все — эпигоны,
все после нас...

С неба тяжёлого,
сном, чудодейством,
снегом на голову
валится детство,

свалкою, волей,
шапкой с ушами,
шалостью, школой,
непослушаньем.

Здесь мы встречаемся.
Мы однолетки.
Мы задыхаемся
в лестничной клетке.

Автомобилями
мчатся недели.
К чёрту фамилии!
Осточертели!

Разве Монтекки
и Капулетти
локоны, веки,
лепеты эти?

Тысячеустым
четверостишием
чище искусства,
чуда почище.

1950-е





ДАЧА ДЕТСТВА

Интерьеры скособочены
в оплеухах снежных масс.
В интерьерах блеск пощёчин —
раз!

За проказы, неприличности
и бесстыжие глаза,
за расстёгнутые лифчики —
за!

Дым шатает половицы,
искры сыплются из глаз.
Этак дача подпалится —
раз!

Поцелуи и пощёчины,
море солнца, птичий гвалт,
задыхаемся, хохочем —
март!

1950-е





ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЁЖИ

Пляска затылков,
блузок, грудей —
это в Бутырках
бреют блядей.

Амбивалентно
добро и зло —
может, и Лермонтова
наголо?

Пей вверхтормашками,
влей депрессант,
чтоб нового «Сашку»
не смог написать...

Волос — под ноль.
Воля — под ноль.
Больше не выйдешь
под выходной!

Смех беспокоен,
снег бестолков.
Под «Метрополем»
дробь каблучков.

Точно косули,
зябко стоят.
Вешних сосуллек
грешный отряд.

Фары по роже
хлещут, как жгут.
Их в Запорожье
матери ждут.

Их за бутылками
не разглядишь.
Бреют в Бутырках
бедных блядищ.

Эх, бедовая
судьба девчачья!
Снявши голову,
по волосам не плачут.

1956





ПЕРВЫИ ЛЕД

Мёрзнет девочка в автомате,
прячет в зябкое пальцецо
всё в слезах и губной помаде
перемазанное лицо.

Дышит в худенькие ладошки.
Пальцы — льдышки. В ушах — серёжки.

Ей обратно одной, одной
вдоль по улочке ледяной.

Первый лёд. Это в первый раз.
Первый лёд телефонных фраз.

Мёрзлый след на щеках блестит —
первый лёд от людских обид.

Поскользнёшься, ведь в первый раз.
Бьёт по радио поздний час.

Эх, раз,
ещё раз,
ещё много, много раз.

1956



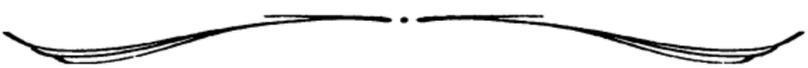
СВАДЬБА

Где пьют, там и быют —
чашки, кружки об пол быют,
горшки — в черепки,
молодым под каблуки.
Брызжут чашки на куски:
чьё-то счастье —
в черепки!

И ты в прозрачной юбочке,
юна, бела,
дрожишь, как будто рюмочка
на краешке стола.

Горько! Горько!
Нелёгкая игра.
За что? За горку
с набором серебра?
Где пьют, там и льют —
слёзы, слёзы, слёзы льют...

1956



ПЕСНЯ ОФЕЛИИ

Мои дела —
как сажа бела,
была черноброва, светла была,
да всё добро своё раздала,
миру по нитке — голая станешь,
ивой поникнешь, горкой растаешь,
мой Гамлет приходит с угарным дыханьем,
пропахший бензином, чужими духами,
как свечки, бокалы стоят вдоль стола,
идут дела
и рвут удила,
уж лучше б на площадь в чём мать родила,
не крошка с Манежной, не мужу жена,
а жизнь, как монетка,
на решку легла,
искала —
орла,
да вот не нашла...

Мои дела —
как зола — дотла.

1957



ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА

Борька — Любку, Чубук — двух Мил,
а он учителку полюбил!

Елена Сергеевна, ах, она...
(Ленка по уши влюблена!)

Елена Сергеевна входит в класс.
(«Милый!» — Ленка кричит из глаз.)

Елена Сергеевна ведёт урок.
(Ленка, вспыхнув, крошит мелок.)

Понимая, не понимая,
точно в церкви или в кино,
мы взирали, как над пеналами
шло таинственное о н о...

И стоит она возле окон —
чернокобая, синеокая,
закусивши свой красный рот,
белый табель его берёт!

Что им делать, таким двоим?
Мы не ведаем, что творим.
Педсоветы сидят:

«Учтите,
вы советский никак учитель!

На Смоленской вас вместе видели...»
Как возмездье грядут родители.
Ленка-хищница, Ленка-мразь,
ты ребёнка втоптала в грязь!

*«О, спасибо, моя учительница,
за твою высоту лучистую,
как сквозь первый ночной снежок
я затверживал твой урок,*

*и сейчас, как звон вырубалочки,
из жемчужных уплывших стран
окликает меня англичаночка:*

*«Простишь алгебру,
мальчуган...»*

Ленка, милая, Ленка — где?
Ленка где-то в Алма-Ате.
Ленку сшибли, как птицу влёт...

Елена Сергеевна водку пьёт.

1958





* * *

Сидишь беременная, бледная.
Как ты переменилась, бедная.
Сидишь, одёргиваешь платице,
и плачется тебе, и плачется...
За что нас только бабы балуют,
и губы, падая, дают,
и выбегают за шлагбаумы,
и от вагонов отстают?
Как ты бежала за вагонами,
глядела в полосы оконные...
Стучат почтовые, курьерские,
хабаровские, люберецкие...
И от Москвы до Ашхабада,
остолбенев до немоты,
стоят, как каменные, бабы,
луне подставив животы.
И, поворачиваясь к свету,
в ночном быту необжитом —
как понимает их планета
своим огромным животом.

1958



ТАЙГОЙ

Твои зубы смелы
в них усмешка ножа
и гудят как шмели
золотые глаза!

Мы бредём от избушки
нам трава до ушей
ты пророчишь мне взбучку
от родных и друзей

ты отнюдь не монахиня
хоть в округе — скиты
бродят пчёлы мохнатые
нагибая цветы

на ромашках роса
как в буддийских пиалах
как она хороша
в длинных мочках фиалок

В каждой капельке-мочке
отражаясь мигая
ты дрожишь как Дюймовочка
только кверху ногами

ты — живая вода
на губах на листке
ты себя раздала
всю до капли — тайге.

1958



II

Той актрисе все опостылело,
как пустынна ее Потылиха!

Подойдет, улыбнется силясь:
«Я в кого-то переселилась!

Разбежалась, как с бус стеклярус,
Потерялась я, потерялась!..»

Она ходит, сопоставляет.
Нас, как стулья, переставляет.
И уставится из угла,
как пустынный костел, гулка.

Машинально она — жена.
Машинально она жива.
Машинальны вокруг бутылки
и ухмылки скользят обмылками.
Как украли ее лабазно!..

А ночами за лыжной базой
три костра она разожжет
и на снег крестом упадет
потрясенно и беспощано
как посадочная площадка
пахнет жаром, смолой, лыжней
ждет лежит да снежок лизнет
самолет ушел — не догонишь.

Ненайденыш мой, ненайденыш!
Потерять себя — не пустяк,
вся бежить, как вода в горстях...

III

А вчера, столкнувшись в гостях,
я увижу, что ты — не ты,
сквозь проснувшиеся черты —
тревожно и радостно,
как птица, в лице твоём, как залетевшая
в форточку птица,
бьет пропавшая красота...
«Ну вот, — ты скажешь, — я и нашлась, кажется...
В новой ленте играю... В 2-х сериях...
Если только первую пробу, блин, не зарубят!..»

1962





ОДА СПЛЕТНИКАМ

Я славлю скважины замочные.
Клевещущему — исполать.
Все репутации подмочены.
Трещи,
трёхспальная кровать!

У, сплетники! У, их рассказы!
Люблю их царственные рты,
их уши,
точно ушитазы,
непогрешимы и чисты.

И версии урчат отчаянно
в лабораториях ушей,
что кот на даче у Ошанина
сожрал соседских голубей,
что гражданина А. в редиске
накрыли с балериной Б...

Я жил тогда в Новосибирске
в блистанье сплетен о тебе.
Как пулемёты, телефоны
меня косили наповал.

И точно тенор — анемоны,
я анонимки получал.

Междугородные звонили.
Их голос, пахнувший ванилью,
шептал, что ты опять дуришь,
что твой поклонник толст и рыж,
что таешь, таешь льдышкой тонкой
в пожатые пышущих ручищ...

Я возвращался.
На Волхонке
лежали чёрные ручьи.

И всё оказывалось шуткой,
насквозь придуманной виной,
и ты запахивала шубку
и пахла снегом и весной.

Так ложь становится гарантией
твоей любви, твоей тоски...

Орите, милые, горланьте!..
Да здравствуют клеветники!

Смакуйте! Дёргайтесь от тика!
Но почему так страшно тихо?

Тебя не судят, не винят,
и телефоны не звонят...

1958





* * *

Друг, не пой мне песню про Сталина.
Эта песенка непростая.
Непроста усов седина.
То хрустальна, а то мутна.

Как плотина, усы блистали,
как присяга иным векам.
Партизаночка шла босая
к их сиянию по снегам.

Кто в них верил? И кто в них сгинул,
как иголка в седой копне?
Их разглаживали при гимне.
Их мочили в красном вине.

И торжественно над страной,
словно птица страшной красы,
плыли с красною бахромою
государственные усы...

Друг, не пой мне песню про Сталина.
Ты у гроба его не простаивал,
провожая — аж губы в кровь —
роковую свою любовь.

1958



ВЕЧЕРИНКА

Подгулявшей гурьбою
все расселись. И вдруг —
где
двое?!
Нет
двух!

Может, ветром их сдуло?
Посреди кутежа
два пустующих стула,
два лежащих ножа.

Они только что пили
из бокалов своих.
Были —
сплыли.
Их нет, двоих.

Водою талою —
ищи-свищи!
Сбежали, бросив к дьяволу
приличья и плащи!

Сбежали, как сбегает
с фужеров гуд.
Так реки берегами,
так облака бегут.

Так убегает молодость
из-под опеки,
и так весною поросли
пускаются в побег!

В разгаре вечеринка,
но смелость этих двух
закинутыми спинками
захватывает дух!

1959





ПАРАБОЛИЧЕСКАЯ БАЛЛАДА

Судьба, как ракета, летит по параболе
обычно — во мраке, и реже — по радуге.
Жил огненно-рыжий художник Гоген,
богема, а в прошлом — торговый агент.
Чтоб в Лувр королевский попасть из Монмартра,
он дал кругалю через Яву с Суматрой!

Унёсся, забыв сумасшествие денег,
кудахтанье жён и дерьмо академий.
Он преодолел тяготенья земное.

Жрецы гоготали за кружкой пивною:
«Прямая — короче, парабола — круче,
не лучше ль скопировать райские кущи?»

А он уносился ракетой ревущей
сквозь ветер, срывающий фалды и уши.
И в Лувр он попал не сквозь главный порог —
параболой гневно пробив потолок!

Идут к своим правдам, по-разному храбро,
червяк—через щель, человек—по параболе.

Жила-была девочка рядом в квартале.
Мы с нею учились, зачёты сдавали.
Куда ж я уехал! И чёрт меня нёс
меж грузных тбилисских двусмысленных звёзд!

Прости мне дурацкую эту параболу.
Простывшие плечики в чёрном парадном...
О, как ты звенела во мраке Вселенной
упруго и прямо — как прутик антенны!
А я всё лечу, приземляясь по ним
— земным и озябшим твоим позывным.
Как трудно даётся нам эта парабола!..

Сметая каноны, прогнозы, параграфы,
несутся искусство, любовь и история —
по параболической траектории!

В Сибирь уезжает он нынешней почью.

.....
А может быть, всё же прямая — короче?

1959





ОСЕНЬ

С. Щипачёву

Утиных крыльев переплеск.
И на тропинках заповедных
последних паутинок блеск,
последних спиц велосипедных.

И ты примеру их последуй,
стучись проститься в дом последний.
В том доме женщина живёт
и мужа к ужину не ждёт.

Она откинет мне щеколду,
к тужурке припадёт щекою,
она, смеясь, протянет рот.
И вдруг, погаснув, всё поймёт —
поймёт осенний зов полей,
полёт семян, распад семей...

Озябшая и молодая,
она подумает о том,
что яблонька и та — с плодами,
бурёнушка и та — с телком.

Что бродит жизнь в дубовых дуплах,
в полях, в домах, в лесах продутых,
им — колоситься, токовать.
Ей — голосить и тосковать.

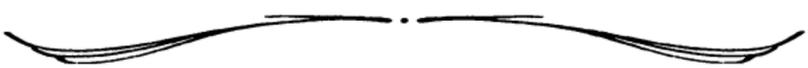
Как эти губы жарко шепчут:
«Зачем мне руки, груди, плечи?
К чему мне жить, и печь топить,
и на работу выходить?»

Её я за плечи возьму —
я сам не знаю что к чему...

А за окошком в юном инее
лежат поля из алюминия.
По ним — черны, по ним — седы,
до железнодорожной линии
протянутся мои следы.

1959





ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА

Мальчики с финками, девочки с фиксами.
Две контролёрши заснувшими сфинксами.

Я еду в этом тамбуре,
спасаясь от жары.
Кругом гудят, как в таборе,
гитары и воры.

И как-то получилось,
что я читал стихи
между теней плечистых,
окурков, шелухи.

У них свои ремёсла.
А я читаю им,
как девочка примёрзла
к окошкам ледяным.

На чёрта им девчонка
и рифм ассортимент?
Таким, как эта, — с чёлкой
и пудрой в сантиметр?!

Стоишь — черты спитые,
на блузке видит взгляд
всю дактилоскопию
малаховских ребят.

Чего ж ты плачешь бурно,
и, вся от слёз светла,
мне шепчешь пецензурно —
чистейшие слова?..

И вдруг из электрички,
ошеломив вагон,
ты, чище Беатриче,
сбегаешь на перрон!

1959



ТИШИНЫ ХОЧУ!

Шестидесятые

МЕЖДУ КОШКОЙ И СОБАКОЙ

Лиловые сумерки Парижа. Мой номер в гостинице.

Сумерки настаиваются, как чай. За круглым столом напротив меня сидит, уронив голову на локоть, могучный Твардовский. Он любил приходить к нам, молодым поэтам, тогда, потому что руководитель делегации Сурков прятал от него бутылки и отнимал, если находил. А может, и потому, что и ему приятно было поговорить с независимыми поэтами. Пиетет наш к нему был бескорыстен — мы никогда не носили стихи в журнал, где он редакторствовал, не обивали пороги его кабинета.

В отдалении, у стены, на тёмно-зелёной тахте полувозлежит медноволосая юная женщина, надежда русской поэзии. Её оранжевая чёлка спадала на глаза подобно прядкам пуделя.

Угасающий луч света озаряет белую тарелку на столе с останками апельсина. Женщина приоткрывает левый глаз и, напряжённо щупая почву, начинает: «Александр Трифоно-

вич, подайте-ка мне апельсин. — И уже смело: Закусить».

Александр Трифонович протрезвел от такой наглости. Он вытаращил глаза, очумело огляделся, потом, что-то сообразив, усмехнулся. Он встал; его грузная фигура обрела грацию; он взял тарелку с апельсином, на левую руку по-лакейски повесил полотенце и изящно подошёл к тахте.

«Многоуважаемая сударыня, — он назвал женщину по имени и отчеству. — Вы должны быть счастливы, что первый поэт России преподносит Вам апельсин. Закусить».

Вы попались, Александр Трифонович! Едва тарелка коснулась тахты, второй карий глаз лукаво приоткрылся: «Это Вы должны быть счастливы, Александр Трифонович, что Вы преподнесли апельсин первому поэту России. Закусить».

И тут я, давась от смеха, подаю голос: «А первый поэт России спокойно смотрит на эту пикировку».

Поэт — всегда или первый, или никакой.





БЬЮТ ЖЕНЩИНУ

Бьют женщину. Блестит белок.
В машине темень и жара.
И бьются ноги в потолок,
как белые прожектора!

Бьют женщину. Так бьют рабынь.
Она в заплаканной красе
срывает ручку, как рубильник,
выбрасываясь на шоссе!

И взвизгивали тормоза.
К ней подбегали, тормоша.
И волочили, и лупили
лицом по лугу и крапиве...

Подонок, как он бил подробно,
стиляга, Чайльд-Гарольд, битюг!
Вонзался в дышащие рёбра
ботинок узкий, как утюг.

О, упоенье оккупанта,
изыски деревенщины...
У поворота на Купавну
бьют женщину.

Быют женщину. Веками быют,
быют юность, бьёт торжественно
набата свадебного гуд,
быют женщину.

А от жаровен сквозь уют
горящие затрешины?
Не любят — быют, и любят — быют,
быют женщину.

Но чист её высокий свет,
отважный и божественный.
Религий — нет, знамений — нет.
Есть Женщина!..

...Она, как озеро, лежала,
стояли очи, как вода,
и не ему принадлежала,
как просека или звезда,
и звёзды по небу стучали,
как дождь о чёрное стекло,
и, скатываясь, остужали
её горячее чело.

1960





ПРОТИВОСТОЯНИЕ ОЧЕЙ

Третий месяц её хохот нарочит,
третий месяц по ночам она кричит.
А над нею, как сиянье, голося,
вечерами

разражаются

глаза!

Пол-лица ошеломлённое стекло
вертикальными озёрами зажгло.

...Ты худеешь. Ты не ходишь на завод,
ты их слушаешь, как лунный садовод,
жизнь и боль твоя, как влага к облакам,
поднимается к наполненным зрачкам.

Говоришь: «Невыносима синева!

И разламывает голова!

Кто-то хищный и торжественно-чужой
свет зажёл и поселился на постой...»

Ты грустишь — хохочут очи, как маньяк.

Говоришь — они к аварии манят.

Вместо слёз —

иллюминированный взгляд.

«Симулирует», — соседи говорят.

Ходят люди, как глухие этажи.
Над одной горят глаза, как витражи.

Сотни женщин их носили до тебя,
сколько муки накопили для тебя!

Раз в столетие
касается

людей

это Противостояние Очей!..

...Возле моря отрешённо и отчаянно
бродит женщина, беременна очами.

Я под ними не бродил,
за них жизнью заплатил.

1961





МОТОГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛЬНОЙ СТЕНЕ

Н. Андросовой

Заворачивая, манежа,
свищет женщина по манежу!
Краги —
красные, как клешни.
Губы крашеные — грешны.
Мчит торпедой горизонтальною,
хризантему заткнув за талию!

Ангел атомный, амазонка!
Щёки вдавлены, как воронка.
Мотоцикл над головой
электрическою пилой.

Надоело жить вертикально.
Ах, дикарочка, дочь Икара...
Обыватели и весталки
вертикальны, как ваньки-встаньки.

В этой, взвившейся над зонтами,
меж оваций, афиш, обид,
сущность женщины

горизонтальная
мне мерещится и летит!

Ах, как кружит её орбита!
Ах, как слёзы к белкам прибиты!
И тиранит её Чингисхан —
замдиректора Сингичанц...

Сингичанц:

«Ну, а с ней не мука?
Тоже трюк — по стене, как муха...
А вчера камеру проколола... Интриги.
Пойду, напишу по инстанции...
И царапается, как копокрадка».

Я к ней вламываюсь в антракте.
«Научи, — говорю, — горизонту...»

А она молчит, амазонка.
А она головой качает.
А её ещё трек качает.
А глаза полны такой —
горизонтальную
тоской!..

1961



прощай, моя мама,
у окон
ты станешь прозрачно, как кокон,
наверно, умаялась за день,
присядем,

друзья и враги, бывайте,
good bye,
из меня сейчас
со свистом вы выбегаете,
и я ухожу из вас,

о родина, попрощаемся,
буду звезда, ветла,
не плачу, не попрошайка,
спасибо, жизнь, что была,

на стрельбищах
в 10 баллов
я пробовал выбить 100,
спасибо, что ошибался,
но трижды спасибо, что

в прозрачные мои лопатки
вошла гениальность, как
в резиновую перчатку
красный мужской кулак,

«Андрей Вознесенский» — будет,
побыть бы не словом, не бульдиком,
ещё на щеке твоей душной —
«Андрюшкой»,

спасибо, что в рощах осенних
ты встретила, что-то спросила

и пса волокла за ошейник,
а он упирался,
спасибо,

я ожил, спасибо за осень,
что ты мне меня объяснила,
хозяйка будила нас в восемь,
а в праздники сипло басила
пластинка блатного пошиба,
спасибо,

но вот ты уходишь, уходишь,
 как поезд отходит, уходишь...
из пор моих полей уходишь,
мы врозь друг из друга уходим,
чем нам этот дом неугоден?

ты рядом и где-то далёко,
почти что у Владивостока,

я знаю, что мы повторимся
в друзья и подругах, в травинках,
нас этот заменит и тот —
«природа боится пустот»,

спасибо за сдутые кроны,
на смену придут миллионы,
за ваши законы — спасибо,

но женщина мчится по склонам,
как огненный лист за вагоном...

Спасите!

1961



СИРЕНЬ «МОСКВА – ВАРШАВА»

Р. Гамзатову

11.III.61

Сирень прощается, сирень — как лыжница,
сирень, как пудель, мне в щёки лижется!
Сирень зарёвана,
сирень — царица,
сирень пылает ацетиленом!

Расул Гамзатов хмур, как бизон.
Расул Гамзатов сказал: «Свезём».

12.III.61

Расул упарился. Расул не спит.
В купе купальщицей сирень дрожит.
О, как ей боязно! Под низом
колёса поезда — не чернозём.
Наверно, в мае цвёт «красивей»...
Двойник мой, магия, сирень, сирень,
сирень как гений! Из всех одна
на третьей скорости цветёт она!

Есть сто косулей —
одна газель.
Есть сто свистулек — одна свирель.
Несовременно цвести в саду.
Есть сто сиреней.
Люблю одну.

Ночные грозди гудят махрово,
как микрофоны из мельхиора.

У, дьявол-дерево! У всех мигрень.
Как сто салютов, стоит сирень.

13.III.61

Таможник вздрогнул: «Живьём? В кустах?!»
Таможник, ахнув, забыл устав.

Ах, чувство чуда — седьмое чувство...
Вокруг планеты зелёной люстрой,
промеж созвездий и деревень
свистит
трассирующая
сирень!
Смешны ей — почва, трава, права...

P.S.

Читаю почту: «Сирень мертва».

P.P.S.

Чёрта с два!

1961



* * *

Конфедераток тузы бесшабашные
кривы.
Звёзды вонзались, точно собашник
в гривы!

Польша — шампанское, танки палящая
Польша!
Ах, как банально — «Андрей и полячка»,
пошло...

Как я люблю её еле смежённые веки,
жарко и снежно, как сны? — на мгновенье,
навек...

Во поле русском, аэродромном,
во поле-полюшке
вскинула рученьки к крыльям огромным —
Польша!

Сон? Богоматерь?..

Буфетчицы прыщут, зардев, —
весь я в помаде,
как будто абстрактный шедевр.

1961



ЛОБНАЯ БАЛЛАДА

Их Величеством поразвлекся
прёт народ от Коломн и Клязьм.
«Их любовница — контрразведчица
англо-шведско-немецко-греческая...»
Казнь!

Царь страшон: точно кляча, тощий,
почерневший, как антрацит.
По лицу проносятся очи,
как буксующий мотоцикл.

И когда голова с топорика
подкатилась к носкам ботфорт,
он берёт её
над толпою,
точно репу с красной ботвой!

Пальцы в щёки впились, как клещи,
переносицею хрустя,
кровь из горла на брюки хлещет.
Он целует её в уста.

Только Красная площадь ахнет,
тихим стоном оглушена:

«А-а-ашхен!..»

Отвечает ему она:

«Мальчик мой Государь великий
не судить мне твоей вины
но зачем твои руки липкие
солоны?»

баба я

вот и вся провинность государства мои в устах
я дрожу брусничной кровиночкой
на державных твоих усах

в дни строительства и пожара
до малюсенькой до любви?

ты целуешь меня Держава
твои губы в моей крови

перегаром борщом горохом
пахнет щедрый твой поцелуй

как ты любишь меня Эпоха
обожаю тебя
царуй!..»

Царь застыл — смурной, малохольный,
царь взглянул с такой меланхолией,
что присел заграничный гость,
будто вбитый по шляпку гвоздь.

1961





* * *

Я сослан в себя
я — Михайловское
горят мои сосны смыкаются
в лице моём мутном как зеркало
смеркаются лоси и перголы
природа в реке и во мне
и где-то ещё — извне
три красные солнца горят
три роци как стёкла дрожат
три женщины брезжут в одной
как матрёшки — одна в другой
одна меня любит смеётся
другая в ней птицей бьётся
а третья — та в уголок
забилась как уголёк
она меня не простит
она ещё отомстит
мне светит её лицо
как со дна колодца —
кольцо

1961



ПРОЩАНИЕ С ПОЛИТЕХНИЧЕСКИМ

Большой аудитории посвящаю

В Политехнический!
В Политехнический!
По снегу фары шипят яичницей.
Милиціонеры свистят панически.
Кому там хнычется?!
В Политехнический!

Ура, студенческая шарага!
А ну, шарахни
по совмещанам свои затрецины!
Как нам мещане мешали встретиться!

Ура вам, дура
в серьгах-будильниках!
Ваш рот, как дуло,
разинут бдительно.
Ваш стул трещит от перегрева.
Умойтесь! Туалет — налево.

Ура, галёрка! Как шашлыки,
дымятся джемперы, пиджаки.
Тысячерукий, как бог языческий,
Твое Величество —
Политехнический!

Ура, эстрада! Но гасят бра.
И что-то траурно звучит «ура».

Двенадцать скоро. Пора уматывать.
Как ваши лица струятся матово!
В них проступают, как сквозь экраны,
все ваши радости, досады, раны.

Вы, третья с краю,
с копной на лбу,
я вас не знаю.
Я вас — люблю!

Чему смеётесь? Над чем всплакнете?
И что черкнёте, косясь, в блокнотик?

Что с вами, синий свитерок?
В глазах тревожный ветерок...

Придут другие — ещё лиричнее,
но это будут не вы —
другие.

Мои ботинки черны, как гири.
Мы расстаёмся, Политехнический!

Нам жить недолго. Суть не в овациях,
мы растворяемся в людских количествах
в твоих просторах,
Политехнический.
Невыносимо нам расставаться.

Ты на кого-то меня сменяешь,
но, понимаешь,
пообещай мне, не будь чудовищем,
забудь со стоящим!

Ты ворожи ему, храни разиню.
Политехнический —
моя Россия! —
ты очень бережен и добр, как Бог,
лишь Маяковского не уберёг...

Поэты падают,
дают финты
меж сплетен, патоки
и суеты,

но где б я ни был — в земле, на Ганге, —
ко мне прислушивается магически
гудящей раковиною гиганта
большое ухо
Политехнического!

1962





РУБЛЕВСКОЕ ШОССЕ

Мимо санатория
реют мотороллеры.

За рулём влюблённые —
как ангелы рублёвские.

Фреской Благовещенья,
резкой белизной,
за ними блещут женщины,
как крылья за спиной!

Их одежда плещет,
рвётся от руля,
вонзайтесь в мои плечи,
белые крыла.

Улечу ли?
Кану ль?
Соколом ли?
Камнем?

Осень. Небеса.
Красные леса.

1962



* * *

Ж.-П. Сартру

Я — семья

во мне как в спектре живут семь «я»
невыносимых как семь зверей
а самый синий
свистит в свирель!

а весной
мне снится
что я — восьмой!

1962





ИТАЛЬЯНСКИЙ ГАРАЖ

Б. Ахмадулиной

Пол — мозаика,
как карась.
Спит в палаццо
ночной гараж.

Мотоциклы как сарадины
или спящие саранчихи.

Не Паоло и не Джульетты —
дышат потные «шевролеты».

Как механики, фрески Джотто
отражаются в их капотах.

Реют призраки войн и краж.
Что вам снится,
ночной гараж?

Алебарды?
или тираны?
или бабы
из ресторана?..

Лишь один мотоцикл притих —
самый алый из молодых.

Что он бодрствует? Завтра — Святки.
Завтра он разобьётся всмятку!

Апельсины, аплодисменты...
Расшибающиеся —
бессмертны!

Мы родились — не выживать,
а спидометры выжимать!..

Алый, копченый, жарь! Жарь!
Только гонщицу очень жаль...

1962





ЛАТЫШСКИЙ ЭСКИЗ

Уходят парни от невест.

Невесть зачем из отчих мест
три парня подались на Запад.
Их кто-то выдаёт. Их цапают.
41-й год. Привет!
«Суд идёт! Десять лет».

«Возлюбленный, когда же вернёшься?!
четыре тыщи дней — как ноша,
четыре тысячи ночей
не побывала я ничьей,
соседским детям десять лет,
прошла война, тебя всё нет,
четыре тыщи солнц скатилось,
как ты там мучаешься, милый,
живой ли ты и невредимый?
предела нету для любимой —

ополоумевши любя, я,
Рута, выдала тебя —
из тюрем приходят иногда,
из заграницы — никогда...»

...Он бьёт её, с утра напившись.
Свистит его костыль над пирсом.

О, вопли женщины седой:
«Любимый мой! Любимый мой!»

1963





ДЛИНОНОГО

Это было на взморье синем —
в Териоках ли? в Ориноко? —
она юное имя носила —
Длиноного!

Выходила — походка лёгкая,
а погодка такая лётная!
От земли, как в стволах соки,
по ногам
подымаются
токи,
ноги праздничные гудят —
танцевать,
танцевать хотят!

Ноги! Дьяволы эlegantные,
извели тебя хулиганствами!
Ты заснёшь — ноги пляшут, пляшут,
как сорвавшаяся упряжка.
Пляшут даже во время сна.
Ты ногами оглушена.

Побледневшая, сокрушённая,
Вместо водки даёшь крюшоны —
Под прилавком сто дьяволят
танцевать,
танцевать хотят!

«Танцы-шманцы?! — сопит завмаг. —
Ах, у женщины ум в ногах».
Но не слушает Длинного
философского монолога.

Как ей хочется повышаться
на кружке инвентаризации!

Ну, а ноги несут сами —
к босанове песут, к самбе!

Он — приезжий. Чудной, как цуцик.
«Потанцуем?»

Ноги, ноги, такие умные!
Ну а ночи — такие лунные!
Длинного, побойся Бога,
сумасшедшая Длинного!

А потом она вздрогнет: «Хватит».
Как коня, колени обхватит
и качается обхватив,
под насвистывающий мотив...

Что с тобой, моя Длинного?..

Ты—далёко.

1963



ВЕЛОСИПЕДЫ

В. Бокову

Лежат велосипеды
в лесу, в росе.
В берёзовых просветах
блестит шоссе.

Попадали, припали
крылом к крылу,
педалями — в педали,
рулём — к рулю.

Да разве их разбудишь —
ну хоть убей! —
оцепенелых чудищ
в витках цепей.

Большие, изумлённые,
глядят с земли.
Над ними — мгла зелёная,
смола, шмели.

В шумящем изобилии
ромашек, мят лежат.
О них забыли.
И спят, и спят.

1963



* * *

Б. Ахмадулиной

Нас много. Нас, может быть, четверо.
Несёмся в машине, как черти.
Оранжеволоса шофёрша.
И куртка по локоть — для форса.

Ах, Белка, лихач катастрофный,
нездешняя, ангел на вид,
хорош твой фарфоровый профиль,
как белая лампа горит!

В аду в сковородки долдонят
и вышлют к воротам патруль,
когда на предельном спидометре
ты куришь, отбросивши руль.

Люблю, когда выжав педаль,
хрустально, как тексты в хорале,
ты скажешь: «Какая печаль!
права у меня отобрали...»

Понимаешь, пришили превышение скорости
в возбуждённом состоянии.
А шла я вроде нормально...»



СТАНСЫ

Закарпатский лейтенант,
на плечах твоих
погоны, точно срезы по наклону
свежеспиленно слепят.

Не приносят новостей
твои новые хирурги,
век отпиливает руки,
если кверху их воздеть!

Если вскинуть к небесам
восхищённые ладони —
«Он сдаётся!» — задолдонят,
или скажут «диверсант»...

Оттого-то лейтенант,
точно трещина на сердце —
что соседи милосердно
принимают за талант.





СТРЕЛА В СТЕНЕ

Тамбовский волк тебе товарищ
и друг,
когда ты со стены срываешь
подаренный пенджабский лук!

Как в ГУМе отмеряют ситец,
с плеча откинется рука,
стрела задышит, не насытятся,
как продолжение соска.

С какую женственностью лютой
в стене засажена стрела —
в чужие стены и уюты.
Как в этом женщина была!

Стрела — в стене каркасной стройки,
Во всём, что в силе и в цене.
Вы думали — век электроники?
Стрела в стене!

Горите, судьбы и державы!
Стрела в стене.
Тебе от слёз не удержаться
наедине, наедине,

над украшательскими нишами,
как шах семье,
ультимативно нищая
стрела в стене!

Шахуй, оторва белокурая!
И я скажу:

«У, олимпийка!» И подумаю:
«Как сжались ямочки в тазу».

«Агрессорка, — добавлю, — скифка...»
Ты скажешь: «Фиг-то...»

*

Отдай, тетива сыромятная,
найтишайшую из стрел
так тихо и невероятно,
как тайный ангел отлетел.

На людях мы едва знакомы,
но это тянется года.
И под моим высотным домом
проходит тёмная вода.

Глубинная струя влеченья.
Печали светлая струя.
Высокая стена прощенья.
И боли чёткая стрела.

1963





ОЛЕНЁНОК

1

«Ольга, опомнитесь! Что с вами, Ольга?..»

Это блуждает в крови, как иголка...

Ну почему — призадумаясь только —
передо мною судьба твоя, Ольга?

Полуфранцуженка, полурусская,
с джазом простуженным туфелькой хрусткая,
как несуразно в парижских альковах —
«Ольга» —
как мокрая ветка ольховая!

Что натворили когда-то родители!
В разных глазах породнили пронзительно
смутный витраж нотр-дамской розетки
с нашим Блаженным в разводах разэтаких.

Бродят, как город разора и оргий,
Ольга французская с русскою Ольгой.

2

Что тебе снится, русская Оля?

Около озера рощица, что ли...

Помню, ведро по погое холодило —
хоть никогда в тех краях не бродила.

Может, в крови моей гены горят?
Некатолический вижу обряд,
а за калиточкой росно и колко...

Как вам живётся, французская Ольга?

«Как? О-ля-ля! Мой «Рено» — как игрушка,
плачу по-русски, смеюсь по-французски...
Я парижанка. Ночами люблю
слушать, щекою прижавшись к рулю».

Руки лежат, как в других государствах.
Правая бренди берёт, как лекарство.
Левая вправлена в псковский браслет,
а между ними — тысячи лет.

Горе застыло в зрачках удлинённых,
о, оленёнок,
вмёрзший ногами на двух нелюдимых и
разъезжающихся
льдинах!

3

Я эту «Ольгу» читал на эстраде.
Утром звонок: «Экскюзе, бога ради!
Я полурусская... с именем Ольга...
Школьница... рыженькая вот только...»

Ольга, опомнитесь! Что с вами, Ольга?!..

1963





ОЗА

*Тетрадь, найденная в тумбочке
дубненской гостиницы*

*

Аве, Оза. Ночь или жилье,
псы ли воют, слизывая слезы,
слушаю дыхание Твое.
Аве, Оза...

Оробело, как вступают в озеро,
разве знал я, циник и паяц,
что любовь — великая боязнь?
Аве, Оза...

Страшно — как сейчас тебе одной?
Но страшнее — если кто-то возле.
Черт тебя сподобил красотой!
Аве, Оза!

Вы, микробы, люди, паровозы,
умоляю — бережнее с нею.
Дай тебе не ведать потрясений.
Аве, Оза...

Противоположности светло.
Дай возьму всю боль твою и горечь.
У магнита я — печальный полюс,
ты же — светлый. Пусть тебе светло.

Дай тебе не ведать, как грущу.
Я тебя не огорчу собою.
Даже смертью не беспокою.
Даже жизнью не отягощу.

Аве, Оза...

I

Женщина стоит у циклотрона —
стройно,

не отстегнув браслетки,
вся изменяясь смутно,
с нами она — и нет ее,
прислушивается к чему-то,

тает, ну как дыхание,
так за нее мне боязно!
Поздно ведь будет, поздно!
Рядышком с кадыками

атомного циклотрона 3-10-40.

Я знаю, что люди состоят из частиц,
как радуги из светящихся пылинок
или фразы из букв.

Стоит изменить порядок, и наш
смысл меняется.

Говорили ей, — не ходи в зону!
а она...

«Зоя, — кричу я, — Зоя!..»

Но она не слышит. Она ничего не понимает.

Может, ее называют Оза?

II

Не узнаю окружающего.

Вещи остались теми же, но частицы их, мигая, изменяли очертания, как лампочки иллюминации на Центральном телеграфе.

Связи остались, но направление их изменилось. Мужчина стоял на весах. Его вес оставался тем же. И нос был на месте, только вставлен внутрь, точно полый чехол кинжала. Нумещающийся кончик торчал из затылка.

Деревья лежали навзничь, как ветвистые озера, зато тени их стояли вертикально, будто их вырезали ножницами. Они чуть погромывали от ветра, вроде серебра от шоколада.

Глубина колодца росла вверх, как черный снопрожектора. В ней лежало утонувшее ведро и плавали кусочки тины.

Из трех облачков шел дождь. Они были похожи на пластмассовые гребенки с зубьями дождя. (У двух зубья торчали вниз, у третьего — вверх).

Ну и рокировка! На месте ладьи генуэзской башни встала колокольня Ивана Великого. На ней, не успев растаять, позвякивали сосульки.

Страницы истории были перетасованы, как

карты в колоде. За индустриальной революцией следовало нашествие Батыя.

У циклотрона толпилась очередь. Проходили профилактику. Их разбирали и собирали. Выходили обновленными.

У одного ухо было привинчено ко лбу с дырочкой посредине вроде зеркала отоларинголога. «Счастливчик, — утешали его. — Удобно для замочной скважины! И видно и слышно одновременно».

А эта требовала жалобную книгу. «Сердце забыли положить, сердце!» Двумя пальцами он выдвинул ей грудь, как правый ящик письменного стола, вложил что-то и захлопнул обратно. Экспериментщик Ъ пел, пританцовывая.

«Е9-Д4, — бормотал экспериментщик. — О, талантство творчества! От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Важно сохранить систему. К чему поэзия? Будут роботы. Психика — это комбинация аминокислот...

Есть идея! Если разрезать земной шар по экватору и вложить одно полушарие в другое, как половинки яичной скорлупы...

Конечно, придется спилить Эйфелеву башню, чтобы она не проткнула поверхность в районе Австралийской низменности.

Правда, половина человечества погибнет, но зато вторая вкусит радость эксперимента!..»

И только на сцене Президиум сохранял полный порядок. Его члены сияли, как яйца в аппарате для просвечивания яиц. Они бы-

ли круглы и поэтому одинаковы со всех сторон. И лишь у одного над столом вместо туловища торчали ноги подобно трубам перископа.

Но этого никто не замечал.

Докладчик выпятил грудь. Но голова его, как у целлулоидного пупса, была повернута вперед затылком. «Вперед, к новым победам!» — призывал докладчик. Все соглашались.

Но где перед?

Горизонтальная стрелка указателя (не то «туалет», не то «к новому искусству!») торчала вверх на манер десяти минут третьего. Люди продолжали идти целеустремленной цепочкой по ее направлению, как по ступеням невидимой лестницы.

Никто ничего не замечал.

НИКТО

Над всем этим, как апокалипсический знак, горел плакат: «Опасайтесь случайных связей!»

Но кнопки были воткнуты острием вверх.

НИЧЕГО

Иссиня-черные брови были нарисованы не над, а под глазами, как тени от карниза.

НЕ ЗАМЕЧАЛ.

МОЖЕТ, ЕЕ НАЗЫВАЮТ ОЗА?

III

Ты мне снишься под утро,
как ты, милая, снишься!..

Почему-то под дулами,
наведенными снизу.

Ты летишь Подмосковьем,
хороша до озноба,
вся твоя маскировка —
30 метров озона!

Твои миги сосчитаны
наведенным патроном,
30 метров озона —
вся броня и защита!

В том рассвете болотном,
где полет безутешен,
но пахнуло полетом,
и — уже не удержишь.

Дай мне, Господи, крыльев
не для славы красивой —
чтобы только прикрыть ее
от прицела трясины.

Пусть еще погуляется
этой дуре рискованной,
хоть секунду — раскованно.
Только пусть не оглянется.

Пусть хоть ей будет счастье
в доме с умным сынишкой.
Наяву ли сейчас ты?
И когда же ты снишься?

От утра ли до вечера,
в шумном счастье заверчена,
до утра? поутру ли?
за секунду до пули.

IV

А может, милый друг, мы впрямь
сентиментальны?

И душу удалят, как вредные миндалины?

Ужели и хорей, серебряный флейтист,
погибнет, как форель погибла у плотин?

Ужели и любовь не модна, как камин?
Аминь?

Но почему ж тогда, заполнив Лужники,
мы тянемся к стихам, как к травам от цинги?
И радостно и робко в нас души расцветают...
Роботы,

роботы,
роботы
речь мою прерывают.

Толпами автоматы
топают к автоматам,
сунут жетон оплаты,
вытянут сок томатный,

некогда думать, некогда,
в оффисы-вагонетки,
есть только брутто, нетто —
быть человеком некогда!

Вот мой приятель-лирик:
к нему забежала горничная...
Утром вздохнула горестно, —
мол, так и не поговорили!

Ангел, об чем претензии?
Провинциалочка некая!

Я вскричал: «Мне жаль вас, птица,
человеком вам родиться б,
счастье высшее трудиться,
полпланеты раскроя...»

Он сказал: «А на фига?!»

«Будешь ты, — великий ментор,
бог машин, экспериментов,
будешь бронзой монументов
знаменит во все края...»

Он сказал: «А на фига?!»

«Уничтожив олигархов,
ты настроишь агрегатов,
демократией заменишь
короля и холодея...»

Он сказал: «А на фига?!»

Я сказал: «А хочешь — будешь
спать в заброшенной избушке,
утром пальчики девичьи
будут класть на губы вишни,
глушь такая, что не слышна
ни хвала и ни хула...»

Он ответил: «Все — мура,
раб стандарта, царь природы,
ты свободен без свободы,
ты летишь в автомашине,
но машина — без руля...»

Оза, Роза ли, стервоза —
как скучны метаморфозы,
в ящик рано или поздно...

Жизнь была — а на фига?!»

Как сказать ему, подонку,
что живем не чтоб подохнуть, —
чтоб губами тронуть чудо
поцелуя и ручья!
Чудо жить — необъяснимо.
Кто не жил — что спорить с ними?!
Можно бы — да на фига?

VII

А тебе семнадцать. Ты запыхалась после гимнастики. И не важно, как тебя зовут. Ты и не слышала о циклотроне.

Кто-то сдуру воткнул на приморской набережной два ртутных фонаря. Мы идем навстречу. Ты от одного, я от другого. Два света быют нам в спину.

И прежде, чем встречаются наши руки, сливаются наши тени — живые, теплые, окруженные мертвой белизной.

Мне кажется, что ты все время идешь навстречу! Затылок людей всегда смотрит в прошлое. За нами, как очередь на троллейбус, стоит время. У меня за плечами прошлое, как рюкзак, за тобой — будущее. Оно за тобой шумит, как парашют.

Когда мы вместе — я чувствую, как из тебя в меня переходит будущее, а в тебя — прошлое, будто мы песочные часы.

Как ты страдаешь от пережитков будущего! Ты резка, искрення. Ты поразительно невежественна. Прошлое для тебя еще может измениться и наступать. «Наполеон, — гово-

рю я, — был выдающийся государственный деятель». Ты отвечаешь: «Посмотрим!»
Зато будущее для тебя достоверно и безусловно.
«Завтра мы пошли в лес», — говоришь ты. У,
какой лес зашумел назавтра! До сих пор у те-
бя из левой туфельки не вытряхнулась сухая
хвойная иголка.
Твои туфли остроносые — такие уже не носят.
«Еще не носят», — смеешься ты.
Я пытаюсь заслонить собой прошлое, чтобы ты
никогда не разглядела майданеков и инкви-
зиции.
Твои зубы розовы от помады.
Иногда ты пытаешься подладиться ко мне. Я за-
мечаю, что-то мучит тебя. Ты что-то ерзаешь.
«Ну, что ты?»
Освобождаясь, ты, довольная, выпаливаешь,
как на иностранном языке: «Я получила
большое эстетическое удовольствие!»
А раньше я тебя боялась... А о чем ты думаешь?..
Может, ее называют Оза?

VIII

Выйду ли к парку, в море ль плыву —
туфельек пара стоит на полу.
Левая к правой набок припала,
их не поправят — времени мало.
В мире не топлено, в мире ни зги,
вы еще теплые, только с ноги,
в вас от ступни потемнела изпанка,
вытерлось золото фирменных знаков...

Красные голуби просо клюют.
Кровь кружит голову — спать не дают!

Выйду ли к пляжу — туфельек пара,
будто купальщица в море пропала.

Где ты, купальщица? Вымыты пляжи.
Как тебе плавается? С кем тебе пляшется?..

...В мире металла, на черной планете,
сентиментальные туфельки эти,

как перед танком присели голубки —
нежные туфельки в форме скорлупки!

.....

IX

Друг белокурый, что я натворил!
Тебя не опечалят строки эти?
Предполагая

подарить бессмертье,
выходит, я погибель подарил.

Фельдфебель, олимпийский эгоист,
какой кретин скатился до приказа:
«Остановись, мгновенье. Ты — прекрасно»?!
Нет, продолжайся, не остановись!

Зачем стреножить жизнь, как конокрад?
Что наша жизнь?

Взаимопревращенье.
Бессмертье ж — прекращенное движенье,
как вырезан из ленты кинокадр.

Бессмертье — как зверинец меж людей.

В нем тонут Анна, Оза, Беатриче...
И каждый может, гогоча и тыча,
судить тебя и родинки глядеть.

Какая грусть — не видеться с тобой,
какая грусть — увидеться в толкучке,
где каждый хлюст, вонзив клешни, толкуя,
касается тебя, — какая боль!

Ты-то простишь мне боль твою и стон.
Ну, а в душе кровавые мозоли?
Где всякий сплетник, жизнь твою мусоля,
жует бифштекс над этим вот листом!

Простимся, Оза, сквозь решетку строк...
Но кровь к вискам бросается, задохшись,
когда живой, как бабочка в ладошке,
из телефона бьется голосок...

От автора и кое-что другое

Люблю я Дубну. Там мои друзья.
Березы там растут сквозь тротуары.
И так же независимы и талы
чудесных обитателей глаза.

Цвет нации божественно оброс.
И, может, потому не дам я дуба —
мою судьбу оберегает Дубна,
как берегу я свет ее берез.

Я чем-то существую ради них.
Там я нашел в гостинице дневник.
Не к первому попала мне тетрадь:
ее командировщики листали,
острили на полях ее устало
и засыпали, силясь разобрать.

Вот чей-то почерк: «Автор-абстрактист»!
А снизу красным: «Сам туда катись!»
«Может, автор сам из тех, кто
тешит публику подтекстом?»
«Брось искать подтекст, задрыга!
ты смотришь в книгу —
видишь фигу».

Оставим эти мудрости, дневник.
Хватает комментариев без них.

*

...А дальше запись лекций начиналась,
мир цифр и чей-то профиль машинальный.
Здесь реализмом трудно потрястись —
не Репин был наш бедный портретист.
А после были вырваны листы.
Наверно, мой упившийся предшественник,
где про любовь рванул, что посущественней...
А следующей фразой было:
ТЫ

Х

Ты сегодня, 16-го, справляешь день рождения
в ресторане «Берлин». Зеркало там на по-
толке.
Из зеркала вниз головой, как сосульки, свисали
гости. В центре потолка нежный, как вымя,
висел розовый торт с воткнутыми свечами.
Вокруг него, как лампочки, ввернутые в эле-
гантные черные розетки костюмов, сияли
лысины и прически. Лиц не было видно.
У одного лысина была маленькая, как дыр-

ка на пятке носка. Ее можно было закрасить чернилами.

У другого она была прозрачна, как спелое яблоко, и сквозь нее, как зернышки, просвечивали три мысли (две черные и одна светлая — недозрелая).

Проборы щеголей горели, как щели в копилках.

Затылок брюнетки с прикнопленным прозрачным нейлоновым бантом полз, словно муха по потолку.

Лиц не было видно. Зато перед каждым, как таблички перед экспонатами, лежали бумажки, где кто сидит.

И только одна тарелка была белая, как пустая розетка.

«Скажите, а почему слева от хозяйки пустое место?»

«Министра, может, ждут?», «А может, помер кто?»

Никто не знал, что там сижу я. Я невидим. Изящные денди, подходящие тебя поздравить, спотыкаются об меня, царапают вилками.

Ты сидишь рядом, но ты восторженно чужая, как подарок в целлофане.

Модного поэта просят: «Ах, рваните чего-то этакое! Поближе к жизни, не от мира сего... чтобы модерново...»

Поэт подымается (вернее, опускается, как спускают трап с вертолета). Голос его странен, как бы антимирен ему.

МОЛИТВА

Мать Владимирская, единственная,
первой молитвой — молитвой последней —
я умоляю —

стань нашей посредницей.

Неумолимы зрачки Ее льдистыс.

Я не кощунствую — просто нет силы,
Жизнь заberi и успехи минутные,
наихрустальнейший голос в России —
мне ни к чему это!

Видишь — лежу — почернел как кикимора.
Все безысходно...

Осталось одно лишь —

грохнись ей в ноги,

Мать Владимирская,

может, умолишь, может, умолишь...

Читая, он запрокидывает лицо. И на его белом
лице, как на тарелке, горел нос, точно болгарский перец.

Все кричат: «Браво! Этот лучше всех. Ну и тостик!» Слово берет следующий поэт. Он пьян вдребезину. Он свисает с потолка вниз головой и просыхает, как полотенце.

— Заонежье. Тает теплоход.

Дай мне погрузиться в твое озеро.

До сих пор вся жизнь моя —

Предозье.

Не дай бог — в Заозье занесет...

Все замолкают.

Слово берет тамада Ъ.

Он раскачивается вниз головой, как длинный маятник. «Тост за новорожденную». Голос

его, как из репродуктора, разносится с потолка ресторана. «За ее новое рождение, и я, как крестный... Да, а как зовут новорожденную?» (Никто не знает.)

Как это все напоминает что-то! И под этим подвешенным миром внизу расположился второй, наоборотный, со своим поэтом, со своим тамадой Ъ. Они едва не касаются затылками друг друга, симметричные, как песочные часы. Но что это? Где я? В каком идиотском измерении? Что это за потолочно-зеркальная реальность?? Что за наоборотная страна?!

Ты-то как попала сюда?

Еще мгновение, и все сорвется вниз, вдребезги, как капли с карниза!

Задумавшись, я машинально глотаю бутерброд с кетовой икрой.

Но почему висящий напротив, как окорок, периферийный классик с ужасом смотрит на мой желудок? Боже, ведь я-то невидим, а бутерброд реален! Он передвигается по мне, как красный джемпер в лифте.

Классик что-то шепчет соседу. Слух моментально пронизывает головы, как бусы на нитке.

Красные змеи языков ввинчиваются в уши соседей. Все глядят на бутерброд.

«А нас килькой кормят!» — вопит классик.

Надо спрятаться! Ведь если они обнаружат меня, кто же выручит тебя, кто же разобьет зеркало?!

Я выпрыгиваю из-за стола и ложусь на красную

дорожку пола. Рядом со мной, за стулом, стоит пара туфелек. Они, видимо, жмут кому-то. Левая припала к правой.

(Как все напоминает что-то!) Тебя просят спеть...
Начинаются танцы. Первая пара с хрустом проносится по мне. Подошвы! Подошвы! Почему все ботинки с подковами? Рядом кто-то с хрустом давит по туфелькам. Чьи-то каблучки, подобно швейной машинке, прошивают мне кожу на лице. Только бы не в глаза!..

Я вспоминаю все. Я начинаю понимать все.

Роботы! Роботы! Роботы!

Как ты, милая, снишься!

«Так как же зовут новорожденную?» — надрывается тамада.

«Зоя! — ору я. — Зоя!»

А может, ее называют Оза?

XI

Знаешь, Зоя, теперь — без трепа.

Разбегаются наши тропы.

Стоит им пойти стороною,

остального не остановишь.

Помнишь, Зоя, — в снега застеленную,

помнишь Дубну, и ты играешь.

Оборачиваешься от клавиш.

И лицо твое опустело.

Что-то в нем приостановилось

И с тех пор невосстановимо.

Всяко было — и дождь и радуги,
горизонт мне являл немилость.
Изменяли друзья злорадно.
Сам себе надоел, зараза.
Только ты не переменялась.

Зоя, помнишь, пора иная?
Зал, взбесившийся как свиарня...
Если жив я назло всем слухам,
в том вина твоя иль заслуга.

Когда беды меня окуривали,
я, как в воду, нырял под Ригу,
сквозь соломинку белокурую
ты дыхание мне дарила.

Километры не разделяют,
а сближают, как провода,
непростительнее, когда
миллиметры нас раздирают!

Если боли людей сближают,
то на черта мне жизнь без боли?
Или, может, беда блуждает
не за мной, а вдруг за тобою?

Нас спасающие — неспасаемы.
Что б ни выпало претерпеть,
для меня важнейшее самое —
как тебя уберечь теперь!

Ты ль меняешься? Я ль меняюсь?
И из лет
очертанья, что были нами,
опечаленно машут вслед.

Горько это, но тем не менее
нам пора... Вернемся к поэме.

ХП

Экспериментщик, чертова перечница,
изобрел агрегат ядерный.

Не выдерживаю соперничества.
Будьте прокляты, циклотроны!

Будь же проклята ты, громада
программированного зверья.

Будь я проклят за то, что я
слыл поэтом твоих распадов!

Мир — не хлам для аукциона.

Я — Андрей, а не имярек.

Все прогрессы —

реакционны,

если рушится человек.

Не купить нас холодной игрушкой,
механическим соловейчиком!

В жизни главное — человечность —
хорошо ль вам? красиво ль? грустно?

Проклинаю псевдопрогресс.

Горло саднит от техсловес.

Я им голос придал и душу,

будь я проклят за то, что в грядущем,

порубав таблеток с эссенцией,

спросит женщина тех времен:

«В третьем томике Вознесенского
что за зверь такой Циклотрон?»

Отвечаю: «Их кости ржавы,
отпужали, как тарантас.
Смертны техники и державы,
проходящие мимо нас.

Лишь одно на земле постоянно,
словно свет звезды, что ушла, —
продолжающееся сияние,
называли его душа.

Мы растаем и снова станем,
и неважно в каком бору,
важно жить, как леса хрустальны
после заморозков поутру.

И от ягод звенит кустарник.
В этом звоне я не умру».

И подумает женщина: «Странно!
Помню Дубну, снега с кострами.
Были пальцы от лыж красны.
Были клавиши холодны.

Что же с Зоей?»

Та, физик давняя?
До свидания, до свидания.

Отчужденно, как сквозь стекло,
ты глядишь свежо и светло.
В мире солнечно и морозно.

Прощай, Зоя.

Здравствуй, Оза!

ХІІІ

Прощай, дневник, двойник души чужой,
забытый кем-то в дубненской гостинице.
Но почему, виски руками стиснув,
я думаю под утро над тобой?

Твоя наивность странна и смешна.
Но что-то ты в душе моей смешал.

Прости царапы моего пера.
Чудовищна ответственность касаться
чужой судьбы, тревог, галлюцинаций!
Но будь что будет! Гранки ждут. Пора.

И может быть, нескладный и щемящий,
придет хозяин на твой зов щенячий.
Я ничего в тебе не изменил,
лишь только имя Зоей заменил.

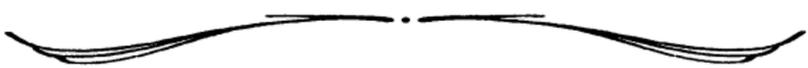
ХІV

НА КРЫЛЬЦЕ,
ОЧИЩАЯ ЛЫЖИ ОТ СНЕГА,
я ПОДНЯЛ ГОЛОВУ.

ШЕЛ САМОЛЕТ.
И ЗА НИМ

НА НЕИЗМЕННОМ РАССТОЯНИИ
ЛЕТЕЛ ОТСТАВШИЙ ЗВУК,
ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ, КАК ПРИЦЕП
НА БУКСИРЕ.

*Дубна — Одесса
Март 1964 г.*



БОЛЬНАЯ БАЛЛАДА

В море морозном, в море зелёном
можно застынуть в пустынных салонах.
Что опечалилась, милый товарищ?
Заболеваешь, заболеваешь?

Мы запропали с тобой в теплоход
в самый канун годовщины печальной.
Что, укачало? Но это пройдёт.
Всё образуется, полегчает.

Ты в эти ночи родила меня,
женски, как донор, наполнив собою.
Что с тобой, младшая мама моя?
Больно?

Милая, плохо? Планета пуста,
официанты бренчат мелочишкой.
Выйдешь на палубу — пар изо рта,
не докричишься, не докричишься.

К нам, точно кошка, в каюту войдёт
затосковавшая проводница.
Спросит уютно: «Чайку, молодёжь,
или чего-нибудь подкрепиться?»

Я, проводница, слезами упыюсь,
и в годовщину подобных кочевий,
выпьете, что ли, за дьявольский плюс
быть на качелях».

«Любят — не любят», за качку в мороз,
что мы сошлись в этом мире киржацком,
в наикачаемом из миров
важно прижаться.

Пьём за сварливую нашу родню,
воют, хвативши чекушку с прицепом.
Милые родичи, благодарю.
Но как тошнит с ваших точных рецептов.

Ах, как тошнит от тебя, тишина.
Благожелатели виснут на шее.
Ворот теснит, и удача тошна,
только тошнее

знать, что уже не болеть ничему, —
ни раздражения, ни обиды.
Плакать начать бы, да нет, не начну.
Видно, душа, как печёнка, отбита...

Ну а пока что — да здравствует бой.
Вам ещё взвыть от последней обоймы.
Боль продолжается. Празднуйте боль!

Больно!

1964





ТИШИНЫ

Тишины хочу, тишины...
Нервы, что ли, обожжены?
Тишины...

Чтобы тень от сосны,
щекоча нас, перемещалась,
холодящая, словно шалость,
вдоль спины, до мизинца ступни.

Тишины...

Звуки будто отключены.
Чем назвать твои брови с отливом?
Понимание — молчаливо.
Тишины.

Звук запаздывает за светом.
Слишком часто мы рты разеваем.
Настоящее — неназываемо.
Надо жить ощущением, цветом.

Кожа тоже ведь человек,
с впечатленьями, голосами.
Для неё музыкально касанье,
как для слуха — поёт соловей.

Как живётся вам там, болтуны,
на низинах московских, аральских?
Горлопаны, не наорались?

Тишины...

Мы в другое погружены.
В ход природ неисповедимый,
и по едкому запаху дыма
мы поймём, что идут чабаны.

Значит, вечер. Вскипает приварок.
Они курят, как тени, тихи.
И из псов, как из зажигалок,
светят тихие языки.

1964





БЬЁТ ЖЕНЩИНА

В чьём ресторане, в чьей стране — не
вспомнишь,
но в полночь
есть шесть мужчин, есть стол, есть Новый год,
и женщина разгневанная — бьёт!

Быть может, ей не подошла компания,
где взгляды липнут, словно листья банные?
За что — неважно. Значит, им положено —
пошла по рожам, как бельё полощут.

Бей, женщина! Бей, милая! Бей, мстящая!
Вмажь майонезом лысому в подтяжках.

Бей, женщина!

Массируй им мордасы!

За все твои грядущие матрасы,

за то, что ты во всём передовая,
что на земле давно матриархат, —

отбить,

обуть,

быть умной,

хохотать, —

такая мука — непередаваемо!

Влепи в него салат из солонины.
Мужчины, рыцари,
куда ж девались вы?!
Так хочется к кому-то прислониться —
увы...

Бей, реваншистка! Жизнь — как белый танец.
Не он, а ты его, отбивши, тянешь.
Поллитра купишь.
Как он скучен, хрыч!
Намучишься, пока расшевелишь.

Ну можно ли в жилет пулять мороженым?!
А можно ли
в капронах
ждать в морозы?
Самой Восьмого покупать мимозы —
можно?!

Виновные, валитесь на колени,
колонны, люди, лунные аллеи,
вы без неё давно бы околели!

Смотрите,
из-под грязного стола —
она, шатаясь, к зеркалу пошла.

«Ах, зеркало, прохладное стекло,
шепчу в тебя бессвязными словами,
сама к себе губами прислоняюсь,
и по тебе сползаю тяжело,

и думаю: трусишки, нету сил —
меня бы кто хотя бы отлупил!..»

1964



ЛЕНЬ

Благословенна лень, томительнейший плен,
когда проснуться лень и сну отдаться лень.

Лень к телефону встать, и ты через меня
дотянешься к нему, переутомлена.

Рождающийся звук в тебе, как колокольчик,
и диафрагмою моё плечо щекочет.

«Билеты? — скажешь ты. — Пусть пропадают.
Лень».

Медлительнейший день в нас переходит в тень.

Лень — двигатель прогресса.

Ключ к Диогену — лень.

Я знаю: ты прелестна, всё остальное — тлен.

Вселенная горит? До завтраго потерпит!

Лень телеграмму взять — заткните под портьеру.

Лень ужинать идти, лень выключить

«трень-брень».

Лень.

И лень окончить мысль: сегодня воскресень...

Колхозник на дороге
разлётся подшофе
сатиром козлоногим
босой и в галифе.

1964





ЗАМЕРЛИ

Заведи мне ладони за плечи,
обойми,
только губы дыхнут об мои,
только море за спинами плещет.

Наши спины — как лунные раковины,
что замкнулись за нами сейчас.
Мы заслушаемся, прислонясь.
Мы — как формула жизни двоякая.

На ветру мировых клоунад
заслоняем своими плечами
возникающее меж нами —
как ладонями пламя хранят.

Если правда, душа в каждой клеточке,
свои форточки отвори.
В моих порах
стрижами заплещутся души
пойманные твои!

Всё становится тайное явным.
Неужели под свистопад,

разомкнёмся немим изваяньем —
как раковины не гудят?

А пока нажимай, заваруха,
на скорлупы упругие спин!
Это нас прижимает друг к другу.

Спим.

1965





БАЛЛАДА-ЯБЛОНЯ

В. Катаеву

Говорила биолог, молодая и зяблая:
«Это лётчик Володя
И, прервав поцелуй, просветлев из зрачков,
он на яблоню выплеснул
свою чистую
кровь!»

*Яблоня ахнула, —
это был первый стон яблони,
по ней пробежала дрожь
негодования и восторга,
была пора завязей,
когда чудо зарождения
высвобождаясь из тычинок,
пестиков, ресниц,
разминается в воздухе.
Дальше ничего не помню.*

Ах, зачем ты, любимый, меня пожалел?
Телу яблонеvu от тебя тяжелеть.
Как ревную я к стонущему стволу!

Ночью нож занесу. Но бессильно стою —
На меня, точно фары из гаража,
мчатся
яблоневого глаза!

Их девятнадцать.

*Они по три в ряд на стволе,
как ленточные окна.*

Они раздвигают кожу, как дупла.

Другие восемь узко растут из листьев.

*В них ненависть, боль, недоумение —
что? что?*

что свершается под корой?

кожу жжёт тебе известь?

кружит тебя кровь?

*Дёгтем, дёгтем тебя мазать бы, а не известью,
дурочка древесная. Сунулась. Стояла бы себе как
соседки в белых передниках. Ишь...*

Так сидит старшеклассница меж подружек,
бледна.

Чем полна большеглазо — не расскажет она.

Похудевшая тайна. Что же произошло?

Пахнут ночи миндально.

Невозможно светло.

Или тигр-людоед так тоскует, багров.

Нас зовёт к невозможнейшему любовь!

А бывает, проснёшься — в тебе звездопад,
тополиные мысли, и листья шумят.

По генетике

у меня четвёрка была.

Люди — это память наследственности.

*В нас, как муравьи в банке,
напиханно шевелятся тысячелетия,
у меня в пятке щекочет Людовик XIV.
Но это?.. Чтобы память нервов мешалась
с хлорофиллами?
Или это биочудо? Где живут био-деревья?
Как женщины пахнут яблоком!..*

...А 30-го ей стало невмоготу.
Ночью сбросила кожу, открыв наготу,
врыта в почву по пояс,
смертельно орёт
и зовёт
удаляющийся самолёт.

1965





* * *

Ты пролётом в моих городах,
ты пролётом
в моих комнатах, баснях про Лондон
и осенних черновиках,

я люблю тебя, мой махаон,
оробевшее чудо бровастое.
«Приготовьте билетики». Баста.
Маханём!

Мало времени, чтоб мельтешить.
Перелётны, стонем пронзительно.
Я пролётом в тебе,
моя жизнь!
Мы транзитны.

Дай тепла тебе львовский октябрь,
дай погоды,
прикорни мне щекой на погоны,
беззащитною, как у котят.

Мы мгновенны? Мы после поймём,
Если в жизни есть вечное что-то —
это наше мгновенье вдвоём.
Остальное — пролётом!

1965



ЗОВ ОЗЕРА

*Памяти жертв фашизма
Певзнер 1903, Сергеев 1934,
Лебедев 1916, Бирман 1938, Бирман 1941,
Дробот 1907...*

Наши кеды как приморозило.

Тишина.

Гетто в озере. Гетто в озере.

Три гектара живого дна.

Гражданин в пиджачке гороховом
заывает на славный клёв,

только кровь

на крючке его крохотном,

кровь!

«Не могу, — говорит Володька, —

а по рылу — могу, —

это вроде как

не укладывается в мозгу!

Я живую водой умоюсь,

может, чью-то жизнь расплещу.

Может, Машеньку или Мойшу

я размазываю по лицу.

Ты не трожь воды плоскодонкой,
уважаемый инвалид,
ты пощупай её ладонью —
болит!

Может, так же не чьи-то давние,
а ладони моей жены,
плечи, волосы, ожидание
будут кем-то растворены?

А базарами колоссальными
барабанит жабрами в жесть
то, что было теплом, глазами,
на колени любило сесть...»

— Не могу, — говорит Володька, —
лишь зажмурюсь —
в чугунных ночах,
точно рыбы на сковородках,
пляшут женщины и кричат!

Третью ночь как Костров пьёт.
И ночами зовёт с обрыва.
И к нему
является
рыба —
чудо-юдо озёрных вод!

*«Рыба, —
летучая рыба, с гневным лицом мадонны,
с плавниками белыми, как свистят
паровозы,
рыба,
Рива тебя звали,*

*золотая Рива,
Ривка, либо как-нибудь ещё,
с обрывком
колючей проволоки или рыболовным крючком
в верхней губе, рыба,
рыба боли и печали,
прости меня, прокляни, но что-нибудь ответь...»*

Ничего не отвечает рыба.

Тихо.

Озеро приграничное.

Три сосны.

Изумлённейшее хранилище
жизни, облака, вышины.

Бирман 1941,

Румер 1902,

Бойко, оба 1933.

1965





АХИЛЛЕСОВО СЕРДЦЕ

В дни, неслыханно болевые,
быть без сердца — мечта.
Чемпионы лупили навывлет —
ни черта!

Продырявленный, точно решёта,
утишаю ажиотаж:
«Поглазейте в меня, как в решётку, —
так шикарен пейзаж!»

Но неужто узнает ружьё,
где,
привязано нитью болезненной,
бьёшься ты в миллиметре от лезвия,
ахиллесово
сердце
моё?!

Осторожнее, милая, тише...
Нашумело меняя места,
я ношусь по России —
как птица
отвлекает огонь от гнезда.

Всё болишь? Ночами пошаливаешь?
Ну и плюс!
Не касайтесь рукою шершавою —
я от судороги валюсь!

Невозможно расправиться с нами.
Невозможнее — выносить.
Но ещё невозможней —
вдруг снайпер
срежет
нить!

1965





* * *

Прости меня, что говорю при всех.

Одновременно открывают атом.
И гениальность стала плагиатом.

Твоё лицо ограблено, как сейф.

Ты с ужасом вливаешься в экраны —
украли!

Другая примеряет, хохоча,
твои глаза и стрижку по плеча.

(Живёшь — бежишь под шёпот во дворе:
«Ишь, баба — как Симона Синьоре».)

Соперницы! Одно лицо на двух.

И я глазел, болельщик и лопух,
как через страны,
будто в волейбол,
летит к другой лицо твоё и боль!

Подранком, оторвавшимся от стаи,
ты тянешься в актёрские пристанища,
ночами перед зеркалом сидишь,
как кошка, выжидающая мышь.

Гулянками сбиваешь красоту,
как с самолёта пламя на лету,
горячим полотенцем трёшь со зла,
но маска, как проклятье, приросла.

Кто знал, чем это кончится? Прости.
А вдруг бы удалось тебя спасти!
Не тот мужчина сны твои стерёг.
Он красоты твоей не уберёг.

Не те постели застилали нам.
Мы передоверялись двойникам,
наинепоправимо непросты...
Люблю тебя. За это и прости.

Прости за черноту вокруг зрачков,
как будто ямы выдранных садов, —
прости! —
когда безумная почти
ты бросилась из жизни болевой
на камни
ненавистной
головой!..

Прости меня. А впрочем, не жалею.
Вот я живу. И это тяжелей.

.....

Больничные палаты из дюрала.
Ты выздоравливаешь.
А где-то баба
за морем орёт —
ей жгут лицо, глаза твои и рот.

1965



НЕ ПИШЕТСЯ

Я — в кризисе. Душа нема.
«Ни дня без строчки», — друг мой дробит.
А у меня —
ни дней, ни строчек.

Поля мои лежат в глуши.
Погашены мои заводы.
И безработица души
зияет страшною зевотой.

И мой критический истец
в статье напишет, что, окрысьсь,
в бескризиснейшей из систем
один переживаю кризис.

Мой друг, мой северный,
мой неподкупный друг,
хорош костюм, да не по росту,
внутри всё ясно и вокруг — но не поётся.

Я деградирую в любви.
Дружу с оторвою трактирною.
Не деградируете вы —
я деградирую.

Был крепок стих, как рафинад.
Свистал хоккейным бомбардиром.
Я разучился рифмовать.
Не получается.

Чужая птица издали
простонет перелётным горем.
Умеют хором журавли.
Но лебедь не умеет хором.

О чём, мой серый, на ветру
ты плачешь белому Владимиру?
Я этих нот не подберу.
Я деградирую.

Семь поэтических томов
в стране выходит ежедневно.
А я друзей и городов
бегу, как бешеная сука,

в похолодавшие леса
и онемевшие рассветы,
где деградирует весна
на тайном переломе к лету...

Но верю я, моя родня —
две тысячи семьсот семнадцать
поэтов нашей федерации —
стихи напишут за меня.

Они не знают деградации.

1967





ЛИВЫ

Л. М.

Островная красота.
Юбки с выгибом, как вилы.
Лики в пятнах от костра —
это ливы.

Ими вылакан бальзам?
Опрокинут стол у липы?
Хватит глупости базлать!
Это — ливы.

Ландышевые стихи,
и ладышки у залива,
и латышские стрелки.
Это? Ливы?

Гармоничное «и-и»
вместо тезы «или — или».
И шоссе. И соловьи.
Двое встали и ушли.
Лишь бы их не разлучили!

Лишь бы сыпался лесок,
лишь бы иволгины игры

осыпали на песок
сосен сдвоенные иглы!

И от хвойных этих дел,
точно буквы на галете,
отпечатается «л»
маленькое на коленке!

Эти буквы солонь.
А когда свистят с обрыва,
это вряд ли соловьи,
это — ливы.

1967





НА ПЛОТАХ

Нас несёт Енисей.

 Как плоты над огромной и чёрной водой.
Я — ничей!

Я — не твой, я — не твой, я — не твой!

Ненавижу провал
 твоих губ, твои волосы, платье, жильё.

Я плевал
 на святое и лживое имя твоё!

Ненавижу за ложь
 телеграмм и открыток твоих,
ненавижу, как нож
 по ночам ненавидит живых.

Ненавижу твой шёлк,
 проливные нейлоны гардин.

Мне нужнее мешок, чем холстина картин!

Атаманша-тихоня
 телефон-автоматной Москвы,

Я страшон, как икона,
 почернел и опух от мошки.

Блещет, словно сазан,
 голубая щека рыбака.

«Нет» — слезам.

«Да» — мужским, продублённым рукам.

«Да» — девчатам разбойным,
купающим МАЗ, как коня,

«Да» — брандспойтам,
сбивающим горе с меня.

1967





* * *

Нам, как аппендицит,
поудаляли стыд.

Бесстыдство — наш удел.
Мы попираем смерть.
Ну, кто из нас краснел?
Забыли, как краснеть!

Сквозь ставни наших щёк
не просочится свет.
Но по ночам — как шов,
заноеет, — спасу нет!

Я думаю, что Бог
в замену глаз и уш
нам дал мембраны щёк
как осязанье душ.

Горит моя беда,
два органа стыда —
не только для бритья,
не только для битья.

Спускаюсь в чей-то быт,
смутясь, гляжу кругом —
мне гладит щёки стыд
с изнанки уютюгом.

Как стыдно, мы молчим.
Как минимум — схохмим.
Мне стыдно писанин,
написанных самим!

Ложь в рожницах людей,
хоть надевай штаны,
но тыщу раз стыдней,
когда премьер страны
застенчиво замер в ООН
перед тем — как снять ботинок.

«Вот незадача, — размышлял он. —

Точно помню, что
вымыл вчера ногу, но какую — левую
или правую?»

Далёкий ангел мой,
стыжусь твоей любви
авиаказной...

Мне стыдно за твои

солёные, что льёшь.
Но тыщи раз стыдней,
что не отыщешь слёз
на дне души моей.

Смешон мужчина мне
с напухшей тучей глаз.
Постыднее вдвойне,
что это в первый раз.

И чёрный ручеёк
бежит на телефон
за всё, за всё, что он
имел и не сберёг.

За всё, за всё, за всё,
что было и ушло,
что сбудется ужо
и всё ещё — не всё...

В больнице режиссёр
чернеет с простынёй.
Ладони распростёр.
Но тыщи раз стыдней,
что нам глядит в глаза,
как бы чужие мы,
стыдливая краса
хрустальнейшей страны —
застенчивый укор
застенчивых лугов,
застенчивая дрожь
застенчивейших рощ...

Обязанность стиха
быть органом стыда.

1967





НАПОИЛИ

Напоили.
Первый раз ты так пьяна,
на пари ли?
Виновата ли весна?
Пахнет ночью из окна
и полынью.
Пол — отвесный, как стена.
Напоили.

Меж партнёров и мадам
синеглазо
бродит ангел вдрабадан,
семиклашка.

Её мутит. Как ей быть?
Хочет взрослою побыть.

Кто-то вытащит ей таз
из передней
и наяривает джаз
как посредник:

«Всё на свете в первый раз,
не сейчас —

так через час,
интересней в первый раз,
чем в последний...»

Но чьи усталые глаза
стоят в углу,
как образа?
И не флиртуют, не манят —
они отчаяньем кричат.

Что им мерещится в фигурке
между танцующих фигур?

И, как помада на окурках,
на смятых пальцах
маникюр.

1967





ТОСКА

Загляжусь ли на поезд с осенних откосов,
забреду ли в вечернюю деревушку —
будто душу высасывают насосом,
будто тянет вытяжка или выюшка,
будто что-то случилось или случится —
ниже горла высасывает ключицы.

Или ноет какая вина запущенная?
Или женщину мучил — и вот наказанье?
Сложишь песню — отпустит,
а дальше — пуще.
Показали дорогу, да путь заказали.
Точно тайный горб на груди таскаю —
тоска такая!

Я забыл, какие у тебя волосы,
я забыл, какое твоё дыханье,
подари мне прощенье,
коли виновен,
а простивши — опять одари виною...

1967



СНЕГ В ОКТЯБРЕ

Падает по железу
с небом напополам
снежное сожаление
по лесу и по нам.

В красные можжевельники —
снежное сожаление,
ветви отяжелелые
светлого сожаления!

Это сейчас растает
в наших речах с тобой,
только потом настанет
твёрдой, как наст, тоской.

И, оседая, шевелится,
будто снега из детств,
свежее сожаление
милых твоих одежд.

Спи, моё день-рождение,
яблоко закусав.
Как мы теперь отдельно
будем в красных лесах?!

Ах, как звенит вслед лету
брошенный твой снежок,
будто велосипедный
круглый литой звонок!

1967





* * *

Слоняюсь под Новосибирском,
где на дорожке к пустырю
прижата камушком записка:
«Прохожий, я тебя люблю!»

Сентиментальность озорницы,
над вами прыснувшей в углу?
Иль просто надо объясниться?
«Прохожий, я тебя люблю!»

Записка, я тебя люблю!
Опушка — я тебя люблю!
Зверюга — я тебя люблю!
Разлука — я тебя люблю!

Детсад — как семь шаров воздушных,
на шейках-ниточках держась.
Куда вас унесёт и сдует?
Не знаю, но страшусь за вас.

Как сердце жмёт, когда над осенью,
хоть никогда не быть мне с ней,
уносит лодкой восьмивёсельной
в затылок ниточку гусей!

Прощающим благодареньем
пройдёт деревня на плаву.
Что мне плакучая деревня?
Деревня, я тебя люблю!

И, как ремень с латунной пряжкой,
на бражном, как античный бог,
на нежном мерине дремавшем
присох осиновый листок.

Коняга, я тебя люблю!
Мне конюх молвит мирозданьем:
«Поэт? Люблю. Пойдём — раздавим...»
Он сам, как осень, во хмелю,

Над пнём склонилась паутина,
в хрустальном зеркале храня
тончайшим срезом волосиным
все годовые кольца пня.

Будь с встречным чудом осторожней.
Я встречным «здравствуй» говорю.
Несёшь мне гибель, почтальонша?
Прохожая, тебя люблю!

Прохожая моя планета!
За сумасшедшие пути,
проколотые, как билеты,
поэты с дырочкой в груди.

И как цена боёв и риска,
чек, ярлычочек на клею,
к Земле приклеена записка:
«Прохожий, я тебя люблю!»

1967



РОЩА

Не трожь человека, деревце,
костра в нём не разводи.
И так в нём такое делается —
боже не приведи!

Не бей человека, птица,
ещё не открыт отстрел,
Круги твои —
ниже,
тише.
Неведомое — острей.

Неопытен друг двуногий.
Вы, белка и колонок,
снимите силки с дороги,
чтоб душу не наколол.

Не браконьерствуй, прошлое.
Он в этом не виноват.
Не надо, вольная рощица,
к домам его ревновать.

Такая стоишь тенистая,
с начёсами до бровей, —

травили его, освистывали,
ты-то хоть не убей!

Отдай ему в воскресенье
все ягоды и грибы,
пожалуй ему спасение,
спасением погуби.

1968





КОНСПИРАТИВНЫЕ КВАРТИРЫ

Мы — кочевые, мы — кочевые,
мы — очевидно,
сегодня чудом переночуем,
а там — увидим!

Квартиры наши конспиративны,
как в спиритизме,
чужие стены гудят, как храмы,
чужие драмы,
со стен пожаром холсты и схимники...
а ну пошарим —
что в холодильнике?

Не нас заждался на кухне газ,
и к телефонам зовут не нас,
наиродное среди чужого,
и, как ожоги,
чьи поцелуи горят во тьме,
ещё не выветрившиеся вполне?..
Милая, милая, что с тобой?..
Мы эмигрировали в край чужой,

ну что за город, глухой, как чушки,
где прячут чувства?

Позорно пузо растить чинуше —
но почему же,

когда мы рядом, когда нам здорово —
что ж тут позорного?

Опасно с кафедр нести напраслину —
что ж в нас опасного?

Не мы опасны, а вы лабазны,
людьё, которым любовь опасна!

Вы опротивели, конспиративные!..
Поджечь обои? вспороть картины?
Об стены треснуть сервиз, съезжая?..

«Не трожь тарелку — она чужая».

1964



ВАЙ ДА ВАЙ ДА ВАЙ

Семидесятые

ДОНОР ДЫХАНИЯ

Так спасают автогонщиков.

Врач случайная, не ждавши «скорой помощи»,
с силой в лёгкие вдувает кислород —
рот в рот!

Есть отвага медицинская последняя —
без посредников, как жрица мясоедная,
рот в рот,

не сестрою, а женою милосердия
душу всю ему до доньшка даёт —
рот в рот,
одновременно массируя предсердие.

Оживаешь, оживаешь, оживаешь.
Рот в рот, рот в рот, рот в рот.
Из ребра когда-то созданный товарищ,
она вас из дыханья создаёт.

А в ушах звенит, как соло ксилофона,
мозг изъеден углекислотою.
А везти его до Кировских Ворот!
(Рот в рот. Рот в рот. Рот в рот.)

Синий взгляд как пробка вылетит из-под
век, и лёгкие вздохнут, как шар летательный.
Преодолевается летальный
исход...

«Ты лети, мой шар воздушный, мой минутный.
Пусть в глазах твоих
мной вдутый небосвод.
Пусть отдашь моё дыхание кому-то
рот — в рот...»

1970





МОЛИТВА

Когда я придаю бумаге
черты твоей поспешной красоты,
я думаю не о рифмовке, —
с ума бы не сойти!

Когда ты в шапочке бассейной
ко мне припустишь из воды,
молю не о души спасенье, —
с ума бы не сойти!

А за оградой монастырской,
как спирт ударит нашатырный,
послегрозовые сады, —
с ума бы не сойти!

Когда отчётливо и грубо
стрекозы посреди полей
стоят, как чёрные шурупы
стеклянных, замерших дверей,

такое растворится лето,
что только вымолвишь: «Прости,
за что мне, человеку, это!
С ума бы не сойти!»

Куда-то душу уносили —
забыли принести.
«Господь, — скажу, — или Россия,
назад не отпусти!»

1970





САГА

Ты меня на рассвете разбудишь,
проводить, необутая, выйдешь.
Ты меня никогда не забудешь.
Ты меня никогда не увидишь.

Заслонивши тебя от простуды,
я подумаю: «Боже Всевышний!
Я тебя никогда не забуду.
Я тебя никогда не увижу».

Эту воду в мурашках запруды,
это Адмиралтейство и Биржу
я уже никогда не забуду
и уже никогда не увижу.

Не мигают, слезятся от ветра
безнадёжные карие вишни.
Возвращаться — плохая примета.
Я тебя никогда не увижу.

Даже если на землю вернёмся
мы вторично, согласно Гафизу,
мы, конечно, с тобой разминёмся.
Я тебя никогда не увижу.

И окажется так минимальным
наше непониманье с тобою
перед будущим непониманьем
двух живых с пустотой неживою.

И качнётся бессмысленной высью
пара фраз, залетевших отсюда:
«Я тебя никогда не забуду.
Я тебя никогда не увижу».

1977





* * *

Ну что тебе надо ещё от меня?
Чугунна ограда. Улыбка темна.
Я музыка горя, ты музыка лада,
ты яблоко ада, да не про меня!

На всех континентах твои имена
прославил. Такие отгрохал лампы!
Ты музыка счастья, я нота разлада.
Ну что тебе надо ещё от меня?

Смеялась: «Ты ангел?» — я лгал, как змея.
Сказала: «Будь смел» — не вылезил из спален.
Сказала: «Будь первым» — я стал гениален,
ну что тебе надо ещё от меня?

Исчерпана плата до смертного дня.
Последний горит под твоим снегопадом.
Был музыкой чуда, стал музыкой яда,
ну что тебе надо ещё от меня?

Но и под лопатой спую, не вина:
«Пусть я удобренье для Божьего сада,
ты — музыка чуда, но больше не надо!
Ты случай досады. Играй без меня».

И вздрогнули складни, как створки окна.
И вышла усталая и без наряда.
Сказала: «Люблю тебя. Больше нет сладу.
Ну что тебе надо ещё от меня?»

1971





НОВОГОДНЕЕ ПЛАТЬЕ

Подарили, подарили
золотое, как пыльца.
Сдохли б Вены и Парижи
от такого платьица!

Драгоценная потеря,
царственная нищета.
Будто тело запотело,
а на теле — ни черта.

Обольстительная сеть,
золотая ненасыть.
Было нечего надеть,
стало — некуда носить.

Так поэт, затосковав,
ходит праздно на проспект.
Было слов не отыскать,
стало — не для кого спеть.

Было нечего терять,
стало — нечего найти.
Для кого играть в театр,
когда зритель не на ты?

Было зябко от надежд,
стало пусто напоследь.
Было нечего надеть,
стало — незачем надеть.

Я б сожгла его, глупыш.
Не оцените кульбит.
Было страшно полюбить —
стало некого любить.

1971





СПАЛЬНЫЕ АНГЕЛЫ

Огни Медыни?
А может, Волги?
Стакан на ощупь.
Спят молодые
на нижней полке
в вагоне общем.

На верхней полке
не спит подросток.
С ним это будет.
Напротив мать его
кусает простынь.
Но не осудит.

Командировочный
забился в угол,
не спит с Уссури.
О чём он думает
под шёпот в ухо?
Они уснули.

Огням качаться,
не спать родителям,

не спать соседям.
Какое счастье
в словах спасительных:
«Давай уедем!»

Да хранят их
ангелы спальные,
качав и плавав, —
на полках спаренных,
как крылья первых
аэропланов.

1971





* * *

Наш берег песчаный и плоский,
заканчивающийся сырой
печальной и тёмной полоской,
как будто платочек с каймой.

Направо холодное море,
налево песочечный быт.
Меж ними, намокши от горя,
темнея, дорожка блестит.

Мы больше сюда не приедем.
Давай по дорожке пройдем.
За нами — к добру, по приметам —
следы отольют серебром.

1971





* * *

Сложи атлас, школярка шалая, —
мне шутить с тобою легко, —
чтоб Восточное полушарие
на Западное легло.

Совместятся горы и воды,
колокольный Великий Иван,
будто в ножны, войдёт в колодец,
из которого пил Магеллан.

Как две раковины, стадионы,
мексиканский и Лужники,
сложат каменные ладони
в аплодирующие хлопки.

Вот зачем эти люди и зданья
не умеют унять тоски —
доски, вырванные с гвоздями
от какой-то иной доски.

А когда я чуть захмелею
и прошвыриваюсь на канал,
с неба колют верхушками ели,
чтобы плечи не подымал.

Я нашёл отпечаток шины
на ванкуверской мостовой
перевёрнутой нашей машины,
что разбилась под Алма-Атой.

И висят, как летучие мыши,
надо мною вниз головой —
времена, домишки и мысли,
где живали и мы с тобой.

Нам рукою помашет хиппи,
вспыхнет пуговкою обшлаг.
Из плеча — как чёрная скрипка
крикнет гамлетовский рукав.

1971





АВТОМАТ

Москвою кто-то бродит,
накрутит номер мой.
Послушает и бросит —
отбой...

Чего вам? Рифм кило?
Автографа в альбом?
Алло!..
Отбой...

Кого-то повело
в естественный отбор!
Алло!..
Отбой...

А может, ангел в кабеле,
пришедший за душой?
Мы некоммуникабельны.
Отбой...

А может, это совесть,
потерянная мной?
И позабыла голос?
Отбой...

Стоишь в метро, конечной,
с открытой головой,
и в диске, как в колечке,
замёрзнул пальчик твой.

А за окошком мелочью
стучит толпа отчаянная,
как очередь в примерочную
колечек обручальных.

Ты дунешь в трубку дальнюю,
и мой воротничок
от твоего дыхания
забьётся, как флажок...

Порвалась связь планеты.
Аукать устаю.
Вопросы без ответов.
Ответы в пустоту.

Свело. Свело. Свело.
С тобой. С тобой. С тобой.
Алло. Алло. Алло.
Отбой. Отбой. Отбой.

1971





ВОДНАЯ ЛЫЖНИЦА

В трос вросла, не сняв очки бутылки, —
уводи!

Обожает, чтобы уводили!
Аж щека на повороте у воды.

Проскользила — Боже! — состругала,
наклонившись, как в рубанке оселок,
не любительница — профессионалка,
золотая чемпионка ног!

Я горжусь твоей слепой свободой,
обминающею до кишок, —
золотою вольницей увода
на глазах у всех, почти что нагишом.

Как истосковалась по пиратству
женщина в сегодняшнем быту!
Главное — ногами упираться,
чтоб не вылетала на ходу.

«Укради, как раньше, на запятках, —
миленький, назад не возврати!» —
если есть душа, то она в пятках,
упирающихся в край воды.

Укради за воды и за горы,
только бы надёжен был мужик!
В золотом забвении увода
онемеют дёсны и язык.

«Да куда ж ты без спасательной жилетки,
как в натянутой рогаточке свистя?»
Пожалейте, люди, пожалейте
себя!..

...Но остался след неуловимый
от твоей невидимой лыжни,
с самолётным разве что сравнимый
на душе, что воздуху сродни.

След потери нематериальный,
свет печальный — Бог тебя храни!
Он позднее в годах потерялся,
как потом исчезнут и они.

1971





ДВЕ ПЕСНИ

1. Он

Возвращусь в гвой сад запущенный,
где ты в жизнь меня ввела,
в волоса твои распущенные
шептал первые слова.

Та же дача полутёмная.
Дочь твоя, белым-бела,
мне в лицо моё смятенное
шепчет первые слова.

А потом лицом в коленки
белокурые свои
наматывает, как колечки,
вокруг пальчиков ступни.

Так когда-то ты наматывала
свои царские до пят
в кольца чёрные, агатовые
и гадала на агат!

И печальница другая
Усмехается, как мать:

«Ведь венчаются ногами.
Надо б ноги обручать».

В этом золоте и черни
есть смущённые черты,
мятный свет звезды дочерней,
счастье с привкусом беды.

Оправдались суеверия.
По бокам моим встаёт
горестная артиллерия —
ангел чёрный, ангел белая —
перелёт и недолёт!

Белокурый недолеток,
через годы темноты
вместо школьного, далёкого,
говорю святое «ты».

Да какие там экзамены,
если в бледности твоей
проступают стоны мамины
рядом с ненавистью к ней.

Разлучая и сплетая,
перепутались вконец
чёрная и золотая —
две цепочки из колец.

Я б сказал, что ты, как арфа,
чешешь волосы до пят.
Но важней твоё «до завтра».
До завтра б досуществовать!

2. Она

Волосы до полу, чёрная масть, —
мать.

Дождь белокурый, застенчивый в дрожь, —
дочь.

— Гость к нам стучится, оставь меня с ним
на всю ночь,
дочь.

— В этой же просьбе хотела я вас умолять,
мать.

— Я — его первая женщина, вернулся,
до ласки охоч,
дочь.

— Он — мой первый мужчина, вчера я боялась
сказать,
мать.

— Доченька... Сволочь!.. Мне больше не дочь,
прочь!..

.....
— Это о смерти его телеграмма,
мама!..

1971





* * *

В человеческом организме
девяносто процентов воды,
как, наверное, в Паганини
девяносто процентов любви!

Даже если — как исключенье —
вас растаптывает толпа,
в человеческом назначении
девяносто процентов добра.

Девяносто процентов музыки,
даже если она беда,
так и во мне, несмотря на мусор,
девяносто процентов Тебя.

1972





ПЕТРАРКА

Не придумано истинней мига, —
чем раскрытые наугад,
недочитанные, как книга, —
разметавшись, любовники спят.

1972





АПЕЛЬСИНЫ

Самого его на бомбе подорвали —
вечный мальчик, террорист, миллионер...
Как доверчиво усы его свисали
точно гусеница-землемер!

Его имя раньше женщина носила.
И ей русский вместо лозунга «люблю»
расстелил четыре тыщи апельсинов,
словно огненный булыжник на полу.

И она глазами тёмными косила.
Отражались и отплясывали в ней
апельсины, апельсины, апельсины,
словно бешеные яблоки коней!..

Рушится уклад семьи спартанской.
Трещат свечи. Пахнет кожура.
Чувство раскрывается спонтанно,
как у постового кобура.

Как смешались в апельсинном дыме
к нему ревность и к тебе любовь!
В чудное мгновенье молодые
жёны превращаются во вдов.

Апельсины, апельсины, апельсины...
На меня, едва я захмелел,
наезжают его чёрные усищи,
словно гусеница-землемер.

1972





* * *

Ты поставила лучшие годы,
я — талант.
Нас с тобой секунданты угодливо
Развели. Ты — лихой дуэлянт!

Получив твою меткую ярость,
пошатнусь и скажу как актёр,
что я с бабами не стреляюсь,
из-за бабы — другой разговор.

Из-за той, что вбегала в июле,
что возлюбленной называл,
что сейчас соловьиною пулей
убиваешь во мне наповал!

1972





СТАРОФРАНЦУЗСКАЯ БАЛЛАДА

Мы стали друзьями. Я не ревную.
Живёшь ты в художнической мансарде.
К тебе приведу я скрипачку ночную.

Ты нам на диване постелешь. «До завтра, —
нам бросишь небрежно. — Располагайтесь!»
И что-то расскажешь. И куришь азартно.

И всё не уходишь. А глаз твой агатист.
А гостья почувствовала, примолкла.
И долго ещё твоя дверь не погаснет.

Так вот ты какая — на дружбу помолвка!
Из этой мансарды есть выход лишь в небо.
Зияет окном потолковым каморка.

«Прощай, — говорю, — моё небо, — и не по-
нимаю, как с гостьей тебя я мешаю. —
Дай Бог тебе выжить, сестрёлка меньшая!»

А утром мы трапезничаем немо.
И кожа спокойна твоя и пастозна...
Я думаю: «Боже! за что же? за что же?!»
Да здравствует дружба! Да скроется небо.

1972



* * *

Б. Ахмадулиной

Мы нарушили Божий завет.
Яблоко съели.
У поэта напарника нет,
все дуэты кончались дуэлью.

Мы нарушили кодекс людской —
быть взаимной мишенью.
Наш союз осуждён мелюзгой
хуже кровосмешенья.

Нарушительница родилась
с белым голосом в тёмное время.
Даже если земля наша — грязь,
рождество твоё — ей искупленье.

Был мой стих, как фундамент, тяжёл,
чтобы ты невесомела в звуке.
Я красивейшую из жён
подарил тебе утром в подруги.

Я бросал тебе в ноги Париж,
августейший оборвыш, соловка!

Мне казалось, что жизнь — это лишь
певчей силы заложник.

И победа была весела.
И достанет нас кара едва ли.
А расплата произошла —
мы с тобою себя потеряли.

Мы в президиумах сидим
вместо тюрем.
За дерьмо золотых середин
заплатив первородным аллюрам.

Ошибись в этой жизни дотла,
улыбнись: я иной и не жажду.
Мне единственная мила,
где с тобою мы спели однажды.

1972





СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ

Нигилисточка, моя прапракузиночка!
Ждут жаандармы у крыльца на воронях.
Только вздрагивал, как белая кувшиночка,
гимназический стоячий воротник.

Страшно мне за эти лилии лесные,
и коса, такая спелая коса!
Не готова к революции Россия.
Дурочка, разуй глаза.

«Я готова, — отвечаешь, — это главное».
А когда через столетие пройду,
будто шейки гимназисток обезглавленных,
вдрогнут белые кувшинки на пруду.

1972





* * *

На суде, в раю или в аду
скажет он, когда придут истцы:
«Я любил двух женщин как одну,
хоть они совсем не близнецы».

Всё равно, что скажут, всё равно...
Не дослушивая ответ,
он двустворчатое окно
застегнёт на чёрный шпингалет.

1972





ЗАПОВЕДЬ

Вечером, ночью, днём и с утра
благодарю, что не умер вчера.

Пулей противника сбита свеча —
благодарю за священность обряда.
Враг по плечу—долгожданное брата,
благодарю, что не умер вчера.

Благодарю, что не умер вчера
сад мой и домик со старой терраской,
был бы вчерашний, позавчерашний,
а поутру зацвела мушмула!

И никогда б в мою жизнь не вошла
ты, что зовёшься греховною силой, —
чисто, как будто грехи отпустила,
дом застелила, — да это ж волшба!

Я б не узнал, как ты утром свежа!
Стал бы будить тебя некий мужчина.
Это же умонепостижимо!
Благодарю, что не умер вчера.

Проигрыш чёрен. Подбита черта.
Нужно прочесть приговор, не ворча.
Нужно, как Брумель, начать с «ни черта».
Благодарю, что не умер вчера.

Существование — будто сестра,
не совершай мы волшебных ошибок.
Жизнь — это точно, любимая, ибо
благодарю, что не умер вчера.

Ибо права не вражда, а волшба.
Может быть, завтра скажут: «Пора!»
Так нацарапай с улыбкой пера:
«Благодарю, что не умер вчера».

1972





* * *

Стихи не пишутся — случаются,
как чувства или же закат.
Душа — слепая соучастница.
Не написал — случилось так.

1973





СНАЧАЛА

Достигли ли почестей постных,
рука ли гашетку нажала —
в любое мгновенье не поздно,
начните сначала!

«Двенадцать» часы ваши пробили,
но новые есть обороты.
Ваш поезд расшибся. Попробуйте
летать самолётом!

Вы к морю выходите запросто,
спине вашей зябко и плоско,
как будто отхвачено заступом
и брошено к берегу прошлое.

Не те вы учили алфавиты,
не те вас кимвалы манили,
иными их быть не заставите —
ищите иные!

Так Пушкин порвал бы, услышав,
что не ядовиты анчары,
великое четверостишье —
и начал сначала!

Начните с бесславья, с безденежья.
Злорадствует пусть и ревнует
былая твоя и нездешняя —
начните иную.

А прежняя будет товарищем.
Не ссорьтесь. Она вам родная.
Безумие с ней расставаться,
однако

вы прошлой любви не гоните,
вы с ней поступите гуманно —
как лошадь её пристрелите.
Не выжить. Не надо обмана.

1973





ГОВОРИТ МАМА

Когда ты была во мне точкой
(отец твой тогда настаивал),
мы думали о тебе, дочка, —
оставить или не оставить?

Рассыпчатые твои косы,
ясную твою память
и сегодняшние твои вопросы:
«оставить или не оставить?»





ХУДОЖНИК И МОДЕЛЬ

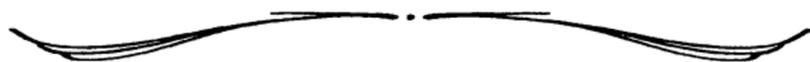
Ты кричишь, что я твой изувер,
и, от ненависти хорошея,
изгибаешь, как дерзкая зверь,
голубой позвоночник и шею.

Недостойную фразу твою
не стерплю, побледнею от вздору.
Но тебя я боготворю.
И тебе стать другой не позволю.

Эй, послушай! Покуда я жив,
жив покуда,
будет люд тебе в храмах служить,
на тебя молясь, на паскуду.

1973





* * *

Тираны поэтов не понимают, —
когда понимают — тогда убивают.

1973





* * *

Я не ведаю в женщине той
чёрной речи и чуингама,
ты, возлюбленная, со мной
разговаривала жемчугами.

Простирала не руку, а длань.
Той, возлюбленной, мелкое чуждо.
А её уязвленная брань —
доказательство чувства.

1973





* * *

Теряю свою независимость,
поступки мои, верней, видимость
поступков моих и суждений
уже ощущают уздечку,
и что там софизмы нанизывать!

Где прежде так резво бежалось,
путь прежний мешает походке,
как будто магнитная залежь
притягивает подковки!
Безволье какое-то, жалость...
Куда б ни позвали — пожалуйста,
как набережные кокотки.

Какое-то разноголосье,
лишившееся дирижёра,
в душе моей стонет и просит,
как гости во время дождора.

И галстук, завязанный фигой,
искусства не заменитель.
Должны быть известными — книги,
а сами вы незнамениты,
чем мина скромнее и глуше,
тем шире разряд динамита.

Должны быть бессмертными — души,
а сами вы смертно-телесны,
телевизионные уши
не так уже интересны.

Должны быть бессмертными рукописи,
а думать — кто купит? — Бог упаси!

Хочу низложенья просторного
всех черт, что приписаны публикой.
Монархия первопрестольная
в душе уступает республике.
Тоскую о милых устоях.

Отказываюсь от затворничества
для демократичных забот —
жестяной лопатой дворничьей
расчищу снежок до ворот.

Есть высшая цель стихотворца —
ледок на крылечке оббить,
чтоб шли отогреться с морозца
и исповеди испить.

1974





ПОРНОГРАФИЯ ДУХА

Отплясывает при народе
с поклонником голым подруга.
Ликуй, порнография плоти!
Но есть порнография духа.

Докладчик порой на лектории —
в искусстве силён, как стряпуха, —
раскроет на аудитории
свою порнографию духа.

В Пикассо ему всё не ясно,
Стравинский — безнравственность слуха.
Такого бы постеснялась
любая парижская шлюха.

Когда танцовщицу раздели,
стыжусь за пославших её.
Когда мой собрат по панели,
стыжусь за него самого.

Подпольные миллионеры,
когда твоей родине худо,
являют в брильянтах и нерпах
свою порнографию духа.

Когда на собрании в зале
неверного судят супруга,
желая интимных деталей,
ревёт порнография духа.

Как вы вообще это смеете!
Как часто мы с вами пытаемся
взглянуть при общественном свете,
когда и двоим — это таинство...

Конечно, спать вместе не стоило б...
Но в скважине голый глаз
значительно непристойнее
того, что он видит у вас...

Клеймите стриптизы экранные,
венерам закутайте брюхо,
Но всё-таки дух — это главное.
Долой порнографию духа!

1974





* * *

Не возвращайтесь к былым возлюбленным,
былых возлюбленных на свете нет.
Есть дубликаты — как домик убранный,
где они жили немного лет.

Вас лаем встретит собачка белая,
и расположенные на холме
две рощи — правая, а позже левая —
повторят лай про себя, во мгле.

Два эха в рощах живут отдельные,
как будто в стереоколонках двух,
всё, что ты сделала и что я сделаю,
они разносят по свету вслух.

А в доме эхо уронит чашку,
ложное эхо предложит чай,
ложное эхо оставит на ночь,
когда ей надо бы закричать:

«Не возвращайся ко мне, возлюбленный,
былых возлюбленных на свете нет,
две изумительные изюминки,
хоть и расправятся тебе в ответ...»

А завтра вечером, на поезд следуя,
вы в речку выбросите ключи,
и роца правая, и роца левая
вам вашим голосом прокричит:

«Не покидайте своих возлюбленных.
Былых возлюбленных на свете нет...»

Но вы не выслушаете совет.

1974





РОМАНС

Запомни этот миг. И молодой шиповник.
И на Твоём плече прививку от него.
Я — вечный Твой поэт и вечный Твой
любовник.
И — больше ничего.

Запомни этот мир, пока Ты можешь помнить,
а через тыщу лет и более того,
Ты вскрикнешь, и в Тебя царапнется шиповник...
И — больше ничего.

1975





НОСТАЛЬГИЯ ПО НАСТОЯЩЕМУ

Я не знаю, как остальные,
но я чувствую жесточайшую
не по прошлому ностальгию —
ностальгию по настоящему.

Будто послушник хочет к Господу,
ну а доступ лишь к настоятелю, —
так и я умоляю доступа
без посредников к настоящему.

Будто сделал я что-то чуждое,
или даже не я — другие.
Упаду на поляну — чувствую
по живой земле ностальгию.

Нас с тобой никто не расколлет,
но когда тебя обнимаю —
обнимаю с такой тоскою,
будто кто тебя отнимает.

Когда слышу тирады подленькие
оступившегося товарища,
я ищу не подобья — подлинника,
по нему грущу, настоящему.

Одиночества не искупит
в сад распахнутая столярка.
Я тоскую не по искусству,
задыхаюсь по-настоящему.

Всё из пластика — даже рубища,
надоело жить очерково...
Нас с тобою не будет в будущем,
а церковка...

И когда мне хохочет в рожу
идиотствующая мафия,
говорю: «Идиоты — в прошлом.
В настоящем — рост понимания».

Хлещет чёрная вода из крана,
хлещет ржавая, настоявшаяся,
хлещет красная вода из крана,
я дождусь — пойдёт настоящая.

Что прошло, то прошло. К лучшему.
Но прикусываю, как тайну,
ностальгию по настоящему,
что настанет. Да не застану.

1975





* * *

Не отрекись
от каждой строчки прошлой —
от самой безнадёжной и продрогшей
из актрисуль.

Не откажусь
от жизни торопливой,
от детских неоправданных трамплинов
и от кощунств.

Не отступлюсь —
«Ни шагу! Не она ль за нами?»
Наверное, с заблудшими, лгунами...
Мой каждый куст!

В мой страшный час,
хотя и блядовая,
поэзия меня не предавала,
не отреклась.

Я жизнь мою
в исповедальне высказал.
Но на весь мир транслировалась исповедь.
Всё признаю.

Толпа кликуш
ждёт, хохоча, у двери:
«Кус его, кус!»
Всё, что сказал, вздохнув, удостоверю.

Не отрекусь.

1975





БЕЛОВЕЖСКАЯ БАЛЛАДА

Я беру тебя на поруки,
перед силами жизни и зла,
перед алчущим оком разлуки,
что оставилась из угла.

Я беру тебя на поруки
из неволи московской тщеты.
Ты — как роща после порубки,
ты мне крикнула: защити!

Отвернутся друзья и подруги.
Чтобы вспыхнуло всё голубым,
беловежскою рюмкой сивухи
головешки в печи угостим.

Затопите печаль в моём доме!
Поёт прошлое в кирпичках.
Всё гори синим пламенем, кроме, —
запалите печаль!

В этих пылких поспешных поленьях,
в слове, вырвавшемся, хрипя,
ощущение преступления,
как сказали бы раньше — греха.

Воли мне не хватало, воли.
Грех, что мы крепостны на треть.
Столько прошлых дров накололи —
хорошо им в печали гореть!

Это пахнет уже не романом —
так бывает пожар и дождь, —
на ночь смывши глаза и румяна,
побледневшая, подойдёшь.

А в квартире, забытой тобою,
к прежней жизни твоей подключён,
белым черепом со змеёю
будет тщетно шуршать телефон...

В этой егерской баньке бревенчатой,
точно сельские алтари,
мы такую свободой повенчаны —
у тебя есть цыгане в крови.

Я беру тебя на поруки
перед городом и людьми.
Перед ангелом воли и муки
ты меня на поруки возьми.

1975





ЗВЕЗДА

Аплодировал Париж
в фестивальном дыме.
Тебе дали первый приз —
«Голую богиню».

Подвезут домой друзья
от аэродрома.
Дома нету ни копыя.
Да и нету дома.

Оглядишь свои углы
звёздными своими:
стены пусты и голы —
голая богиня.

Предлагал озолотить
режиссёр павлиний.
Ты ж предпочитаешь жить
голой, но богиней.

Подвернётся, может, роль,
с текстами благими.
Мне плевать, что гол король!
Голая богиня...

А за окнами стоят
талые осины
обнажённо, как талант, —
голая Россия!

И такая же одна
грохает тарелки
возле вечного огня
газовой горелки.

И мерцает из угла
в сигаретном дыме —
ах, актёрская судьба!
Голая богиня.

1975





ХОББИ СВЕТА

Я сплю на чужих кроватях,
сизу на чужих стульях,
порой одет в привозное,
ставлю свои книги на чужие стеллажи, —
но свет
должен быть
собственного производства.
Поэтому я делаю витражи.

Уважаю продукцию ГУМа и Пассажа,
но крылья за моей спиной
работают, как ветряки.

Свет не может быть купленным
или продажным.
Поэтому я делаю витражи.

Я прутья свариваю электросваркой.
В наших магазинах не достать сырья.
Я нашёл тебя на свалке.
Но я заставлю тебя сиять.

Да будет свет в Тебе
молитвенный и кафедральный,

да будут сумерки, как тамариск,
да будет свет
в малиновых Твоих подфарниках,
когда Ты в сумерках притормозишь.

Но тут моё хобби подменяется любовью.
Жизнь расколота? Не скажи!
За окнами пахнет средневековьем.
Поэтому я делаю витражи.

Человек на 60 процентов из химикалиев,
на 40 процентов из лжи и ржи...
Но на 1 процент из Микеланджело!
Поэтому я делаю витражи.

Но тут моё хобби занимается теософией.
Пузырьки внутри сколов
стоят, как боржом.
Прибью витраж на калитку тесовую.
Пусть лес исповедуется
перед витражом.

Но это уже касается жизни, а не искусства.
Жжёт мои лёгкие эпоксидная смола.
Мне предлагали (по случаю)
елисеевскую люстру.
Спасибо. Мала.

Ко мне прицениваются барышники,
клюют обманутые стрижи.
В меня прицеливаются булыжники.
Поэтому я делаю витражи.

1975



СМЕРТЬ

Кончину чую. Но не знаю часа.
Плоть ищет утешенья в кутеже.
Жизнь плоти опостылела душе.
Душа зовёт отчаянную чашу!
Мир заблудился в непролазной чаще
Средь ядовитых гадов и ужей.
Как черви, лезут сплетни из ушей.
И истина сегодня — гость редчайший.
Устал я ждать. Я верить устаю.
Когда ж взойдёт, Господь, что Ты посеял?
Нас в срамоте застанет смерти час.
Нам не постигнуть истину Твою.
Нам даже в смерти не найти спасенья.
И отвернутся ангелы от нас.

1975





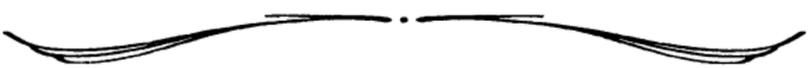
ПЬЕТА

Сколько было тьмы непониманья,
чтоб ладонь прибитая Христа
протянула нам для умыванья
пригорошни, полные стыда?

И опять на непроглядных водах
стоком осквернённого пруда
лилия хватается за воздух —
как ладонь прибитая Христа.

1977





УЕЗДНАЯ ХРОНИКА

Мы с другом шли. За вывескою «Хлеб»
ущелье дуло, как депо судеб.

Нас обступал сиропный городок.
Мой друг хромал. И пузыри земли,
я уточнил бы — пузыри асфальта —
нам попадаясь, клянчили на банку.

— Ты помнишь Анечку-официантку?

Я помнил. Удивлённая лазурь
её меж подавальщиц отличала.
Носила косу, говорят, свою.
Когда б не глаз цыганские фиалки,
её бы мог писать Венецианов.

Спешила к сыну с сумками, полна
такую тёмно-золотою силой,
что женщины при приближенье Аньки
мужей хватали, как при крике «Танки!»
Но иногда на зов: «Официантка!» —
она душою оцепеневала,
как бы иные слыша позывные,
и, вострепнувшись, шла: «Спешу! Спешу!»

Я помнил Анечку-официантку,
что не меня, а друга целовала,
подружку вызывала, фарцевала
и в деревянном домике жила
(как раньше вся Россия, без удобств).

Спешила вечно к сыну. Сын однажды
её встречал. На нас комплексовал.
К ней, как вьюнок белёсый, присосался.
Потом из кухни в зеркало следил
и делал вид, что учит «Песнь о Данко».

— Ты помнишь Анечку-официантку?
Её убил из-за валюты сын.
Одна коса от Анечки осталась.

Так вот куда ты, милая, спешила!
— Он бил её в постели, молотком,
вьюночек, малолетний сутенёр, —
у друга на ветру блеснули зубы. —
Её ассенизаторы нашли.
Её нога отсасывать мешала.
Был труп утоплен в яме выгребной,
как грешница в аду. Старик, Шекспир...

Она летела над ночной землёй.
Она кричала: «Мальчик потерялся!»
Заглядывала форточкой в дома,
«Невинен он, — кричала, — я сама
ударилась! Сметана в холодильнике.
Проголодался? Мальчика не вижу!» —
и безнадёжно отжимала жижу.

И с круглым люком мерзкая доска
скользила нимбом, как доска иконы.
Нет низкого для Божьей чистоты!

— Её пришёл весь город хоронить.
Гадали — кто? Его подозревали.
Ему сказали: «Поцелуй хоть мать».
Он отказался. Тут и раскололи.
Но не назвал сообщников, дебил.
Сказал я другу: — Это ты убил.

Ты утонула в наших головах
меж новостей и скучных анекдотов.
Не существует рая или ада.

Ты стала мыслью. Кто же ты теперь
в той новой, ирреальной иерархии —
клочок ничто? тычипочка тоски?
приливы беспокойства пред туманом?
Куда спешишь, гонимая причиной,
необъяснимой нам? зовёшь куда?

Прости, что без нужды тебя тревожу.
В том океане, где отсчёта нет,
ты вряд ли помнишь 30—40 лет,
субстанцию людей провинциальных
и на кольце свои инициалы?

Но вдруг ты смутно вспомнишь зовы эти
и на мгновение оцепеневаешь,
расслышав фразу на одной планете:
«Ты помнишь Анечку-официантку?»

Гуляет ветер судеб, судебный ветер.

1977





СКУЛЬПТОР СВЕЧЕЙ

Скульптор свечей, я тебя больше года
вылепливал.

Ты — моя лучшая в мире свеча.
Спички потряхиваю, бренча.
Как ты пылаешь великолепно
волей Создателя и палача!

Было ль, чтоб мать поджигала ребёнка?
Грех работёнка, а не барыш.
Разве сжигал своих детищ Конёнков?
Как ты горишь!

На два часа в тебе красного воска.
Где-то у коек чужих и афиш
стройно вздохнут твои краткие сестры,
как ты горишь.

Как я лепил свое чудо и чадо!
Вёсны кадили. Капало с крыш.
Кружится разум. Это от чада.
Это от счастья, как ты горишь!

Круглые свечи. Красные сферы.
Белый фитиль незажжённых светил.

Тёмное время — вечная вера.
Краткое тело — чёрный фитиль.

*«Благодарю тебя и прощаю
за кратковременность бытия,
пламя пронзающее без пощады
по позвоночнику фитиля.*

*Благодарю, что на миг озаримо
мною лицо твое и жильё,
если ты верно назвал своё имя,
значит, сгораю во имя Твоё».*

Скульптор свечей, я тебя позабуду,
скутер найму, умогаю отсюда,
свеч наштампую голый столбняк.
Кашляет ворон ручной от простуды.
Жизнь убывает, наверное, так,
как сообщающиеся сосуды,
вровень свече убывает в бутылке коньяк.

И у свечи, нелюбимой покуда,
тёмный нагар на реснице набряк.

1977





Е. W.

Как заклинание псалма,
безумец, по полю несясь,
твердил он подпись из письма:
«Wobulimans» — «Вобюлиманс».

«Родной! Прошло осьмнадцать лет,
у нашей дочери — роман.
Сожги мой почерк и пакет.
С нами любовь. Вобюлиманс.
P. S. Не удался пасьянс».

Мелькнёт трефовый силуэт
головки с буклями с боков.
И промахнётся пистолет.
Вобюлиманс — С нами любовь.

Но жизнь идёт наоборот.
Мигает с плахи Емельян.
И всё Россия не поймёт:
С нами любовь — Вобюлиманс.

1977



РУССКО-АМЕРИКАНСКИЙ РОМАНС

И в моей стране, и в твоей стране
до рассвета спят — не спиной к спине.

И одна луна, золота вдвойне,
И в моей стране, и в твоей стране.

И в одной цене, — ни за что, за так,
для тебя — восход, для меня — закат.

И предутренний холодок в окне
не в твоей вине, не в моей вине.

И в твоём вранье, и в моём вранье
есть любовь и боль по родной стране.

Идиотов бы поубрать вдвойне —
и в твоей стране, и в моей стране.

1977





ПАРОХОД ВЛЮБЛЁННЫХ

Пароход прогулочный вышел на свиданье
с голою водой.

Пароход работает белыми винтами.
Ни души на палубе золотой.

Пароход работает в день три смены.
Пассажиры спрятались от шума дня.
Встретили студенты под аплодисменты
режиссёра модного с дамами двумя.

«С кем сменю каюту?» — барабанят дерзко.
Старый барабанщик, чур, не спать!
У такси бывает два кольца на дверцах,
а у олимпийцев их бывает пять.

Пароход воротится в порт, устав винтами.
Задержись, любимый, на пять минут!
Пароход свиданий не ждут с цветами.
На молу с дубиной родственники ждут.

1977



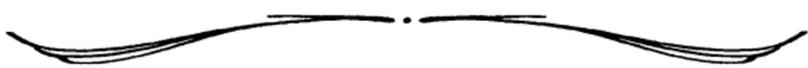


* * *

Неужто это будет всё забыто —
как свет за Апеннинами погас:
людские государства и события,
и божество, что пело в нас,
и нежный шрамик от аппендицита
из чёрточки и точек с боков —
как знак процента жизни ненасытной,
небытия невнятных языков?..

1978





ТАРКОВСКИЙ НА ВОРОТАХ

Стоит белый свитер в воротах.
Тринадцатилетний Андрей.
Бей, урка дворовый,
бутцей ворованной,
по белому свитеру
бей —

по интеллигентской породе!

В одни ворота игра.
За то, что напаялся белой вороной
в мазутную грязь двора.

Бей белые свитера!

Мазила!

За то, что мазила, бей!
Пускай стирает Джульетта Мазина.
Сдай свитер в абстрактный музей.

Бей, детство двора,
за домашнюю рвотину,
что с детства твой свет погорел,
за то, что ты знаешь
широкую родину
по ласкам блатных лагерей.

Бей щёткой, бей пыром,
бей хором, бей миром
всех «хоров» и «отлов» — зубрил,
бей по непонятному ориентиру.
Не гол — человека забил,
за то, что дороги в стране развезло,
что в пьяном зачат грехе,
что, мяч ожидая,
вратарь назло
стоит к тебе буквой «х».
С великою тьмой смешон поединок.
Но белое пятнышко,
муть,
бросается в ноги,
с усталых ботинок
всю грязь принимая на грудь.

*Передо мной блеснуло азартной фиксой
потное лицо Шки. Дело шло к финалу.*

Подошвы двор вытер о белый свитер.
— Андрюха! Борьба за тебя.
— Ты был к нам жестокий,
не стал шестёркой,
не дал нам забить себя.

Да вы же убьёте его, суки!

Темнеет, темнеет окрест.
И бывшие белые ноги и руки
летят, как Андреевский крест.

*Да они и правда убьют его! Я переглянулся
с корешом — тот понимает меня,*

*и мы выбиваем мяч на проезжую
часть переулка, под грузовики. Мячик
испускает дух. Совсем стемнело.*

Когда уходил он,
зажавши кашель,
двор понял, какой он больной.
Он шёл,
обернувшись к темени нашей
незапятнанной белой спиной.

.....

Андрюша, в Париже
ты вспомнишь ту жижу
в поспешной могиле чужой.
Ты вспомнишь не урок —
Щипок-переулок.
А вдруг прилетишь домой?

Прости, если поздно. Лежи, если рано.
Не знаем твоих тревог.
Пока ж над страной трепещут экраны,
как распятый твой свитерок.

1979





МУЛАТКА

Рыдайте, кабацкие скрипки и арфы,
над чёрною астрой с причёскою «афро»
что в баре уснула, повиснув на друге,
и стало ей плохо на все его брюки.

Он нёс её, спящую, в туалеты.
Он думал: «Нет твари отравнее этой!»
На кафеле корчилось и темнело
налитое сном виноградное тело.

«О, освободись!.. Я стою на коленях,
целую плечо твоё в мокром батисте.
Отдай мне своё естество откровенно,
освободись же, освободись же,

от яви, что мутит, от тайны, что мучит,
от музыки, рвущейся сверху бесстыже,
от жизни, промчавшейся и неминучей,
освободись же, освободись же,

освободись, непробудная женщина,
тебя омываю, как детство и роды,
ты, может, единственное естественное —
поступок свободы и воды заботы,

в колечках причёски вода западает,
как в чёрных оправках напрасные линзы,
подарок мой лишней, напрасный подарок,
освободись же, освободись же,

освободи мои годы от скверны,
что пострашней, чем животная жижа
в клоаке подземной, спящей царевной,
освободи же, освободи же...»

Несло разговорами пошлыми с лестницы.
И не было тела светлей и роднее,
чем эта под кран наклонённая шея
с прилипшим мерцающим полумесяцем.

1979





БЕЗОТЧЕТНОЕ

Изменяйте дьяволу, изменяйте чёрту,
но не изменяйте чувству безотчётному!

Есть в душе у каждого, не всегда отчётливо,
тайное отечество безотчётное.

Женщина замешана в нем темноочёвая,
ты — моё отечество безотчётное!

Гуси ль быстротечные вытянут отточие —
это безотчётное, это безотчётное,

осень ли настояна на лесной рябине,
женщины ль постукают чётками грибными,

иль перо обронит птица неучёная —
как письмо в отечество безотчётное...

Шинами обуется, мантией почётною —
только не обучитесь безотчётному.

Без него вы маетесь, точно безотцовщина,
значит, начинается безотчётное.

Это безотчётное, безотчётное
над рискованной пропастью вам пройти нашептывает.

Когда черти с хохотом вас подвешат за ноги,
«Что ещё вам хочется?» — спросят вас под занавес.

«Дайте света белого, дайте хлеба чёрного
и ещё отечество безотчётное!»

1979



Бледнея под загаром,
ты выйдешь из каскадов.
Потом кому-то скажешь,
вернувшись в города:

«Кого любила?.. Море...»
И всё ему расскажешь.
За время поцелуя
отрастает борода.

1980





МИЛЛИОН РОЗ

Жил-был художник один,
домик имел и холсты.
Но он актрису любил,
ту, что любила цветы.

Он тогда продал свой дом —
продал картины и кров, —
и на все деньги купил
целое море цветов.

Миллион, миллион, миллион алых роз
из окна видишь ты.
Кто влюблён, кто влюблён, кто влюблён —
и всерьёз! —
свою жизнь для тебя превратит в цветы.

Утром встаёшь у окна —
может, сошла ты с ума?
Как продолжение сна
площадь цветами полна.

Похолодеет душа —
что за богач там чудит?
А за окном без гроша
бедный художник стоит.

Встреча была коротка.
В ночь её поезд увёз.
Но в её жизни была
песня безумная роз.

Прожил художник один.
Много он бед перенёс.
Но в его жизни была
целая площадь из роз.

1981





ВОЗДУШНЫЕ ЛЫЖИ

Я водные лыжи почти ненавижу,
когда надеваю воздушные лыжи.

Полжизни вложил я в воздушные лыжи,
полнеба за трос вырывая двужильно.
Мои провозвестники кончили грыжей,
воздушные лыжи со мною дружили.

Ты плаваешь слабо, мой гибкий товарищ,
ты воздух хватаешь, как водная лилия.
На водные доски тебя не поставишь.
Я ставлю тебя на воздушные лыжи.

Не ешь до звезды. И питайся любовью,
сдирая лодыжки о воздух и крыши.
Семья тебя кроет спириткой бесстыжей
за то, что познала воздушные лыжи.

Пойми, что энергия — та же материя.
Ладошка твоя щурит свет Моны Лизы.
Но только одна не катайся. Смертельно!
Когда я уснул, ты взяла мои лыжи.

Я видел тебя над Парижем и Вяткой.
Прощай! Я живую тебя не увижу.
Лишь всплыли на небе пустом необъятно,
как стрелки часов, две скрещённые лыжи.

Моё преступленье ужасно. Я спятил.
Ты же —
жива. Ты по небу катаешь на пятке.
Зачем ты сломала воздушные лыжи?

1981





В ТОПОЛЯХ

Эти встречи второпях,
этот шёпот торопливый,
этот ветер в тополях —
хлопья спальни тополиной!

Торопитесь опоздать
на последний рейс набитый.
Торопитесь обожать!
Торопитесь, торопитесь!

Торопитесь опоздать
к точным глупостям науки,
торопитесь опознать
эти речи, эти руки.

Торопитесь опоздать,
пока живы — опоздайте.
Торопитесь дать под зад
неотложным вашим датам...

Господи, дай опоздать
к ежедневному набору,
ко всему, чья ипостась
не является тобою!..

Эти шавки в воротáх.
Фары вспыхнувшим рапидом.
У шофёра — второй парк.
Ты успела? Торопитесь...

1982





КУЗНЕЧИК

М. Чаклайсу

Сыграй, кузнечик, сыграни,
мой акустический кузнечик,
и в этих музыках вкуснейших
луга и август сохрани.

Сыграй лесную синеву,
органы лиелунских сосен
и счастье женщины несносной,
которым только и живу.

Как сладостно обнявшись спать!
А за окошком долго-долго
в колках древесных и восторгах
заводит музыку скрипач...

Сыграй зелёный меломан.
Роман наш оркестрован грустью,
не музыкальная игрушка,
но тоже страшно поломать.

И нам, когда мы будем врозь,
дрожа углами ног нездешних,

приснится крохотный кузнечик —
как с самолёта Крымский мост.

Сыграй, кузнечик, сыграни...
Ведь жизнь твоя ещё короче,
чем жизни музыкантов прочих,
хоть и не вечные они.





СОН

Я шёл вдоль берега Оби,
я селезню шёл параллельно.
Я шёл вдоль берега любви,
и вслед деревни мне ревели.

И параллельно плачу рек,
лишённых лаянья собачьего,
финально шёл XX век,
крестами ставни заколачивая.

И в городах, и в хуторах
стояли Инги и Устиньи,
их жизни, словно вурдалак,
слепая высосет пустыня.

Кричала рыба из глубин:
«Возьми детей моих в котомку,
но только реку не губи!
Оставь хоть струйку для потомства».

Я шёл меж сосен голубых,
фотографируя их лица, —
как жертву, прежде чем убить,
фотографирует убийца.

Стояли русские леса,
чуть-чуть подрагивая телом.
Они глядели мне в глаза,
как человек перед расстрелом.

Дубы глядели на закат.
Ни Микеланджело, ни Фидий,
никто их краше не создаст.
Никто их больше не увидит.

«Окстись, убивец-человек!» —
кричали мне, кто были живы.
Через мгновение их всех
погубят ядерные взрывы.

«Окстись, палач зверей и птиц,
развившаяся обезьяна!
Природы гениальный смысл
уничтожаешь ты бездарно».

И я не мог найти Тебя
среди абсурдного пространства,
и я не мог найти себя,
не находил, как ни старался.

Я понял, что не будет лет,
не будет века двадцать первого,
что времени отныне нет.
Оно на полуслове прервано...

Земля пустела, как орех.
И кто-то в небе пел про это:
«Червь, человечек, короед,
какую ты сожрал планету!»

...Потом мне снился тот порог,
где, чтоб прикончить Землю скопом,
как в преисподнюю звонок,
дрожала крохотная кнопка.

Мне не было пути назад.
Вошёл я злобно и неробко —
вместо того чтобы нажать,
я вырвал с проводами кнопку!

1983





МАТЬ

Я отменил материнские похороны.
Не воскресить тебя в эту эпоху.

Мама, прости эти сборы повторные.
Снегом осело, что было лицом.
Я тебя отнял у крематория
и положу тебя рядом с отцом.

Падают страшные комья весенние
Новодевичьего монастыря.
Спят Вознесенский и Вознесенская —
жизнью пронизанная земля.

То, что к тебе прикасалось, отныне
стало святыней.
В сквере скамейки, Ордынка за ними
стали святыней.

Стал над берёзой екатерининской
свет материнский.

Что ты прошла на земле, Антонина?
По уши в ландыши влюблена,
интеллигентка в косынке Рабкрина
и ермоловская спина!

В скрежет зубовой индустрии и примусов,
в мире, замешанном на крови,
ты была чистой любовью, без примеси,
лоб-одуванчик, полный любви.

Ты — незамеченная Россия,
ты охраняла очаг и порог,
беды и волосы молодые,
как в кулачок, зажимая в пучок.

Как ты там сможешь, как же ты сможешь
там без родни?

Носик смешливо больше не сморщишь
и никогда не поправишь мне воротник.

Будешь ночами будить анонимно.
Сам распахнётся ахматовский томик.
Что тебя мучает, Антонина,
Тоня?

В дождь ты стучишься. Ты не простудишься.
Я ощущаю присутствие в доме.
В тёмных стихиях ты наша заступница,
Тоня...

Рюмка стоит твоя после поминок
с корочкой хлебца на сорок дней.
Она испарилась наполовину.
Или ты вправду притронулась к ней?

Не попадает рифма на рифму,
но это последняя связь с тобой!
Оборвалось. Я стою у обрыва,
малая часть твоей жизни земной.

«Благодарю тебя, что родила меня
и познакомила этим с собой,
с тайным присутствием идеала,
что приблизительно звали — любовь.

Благодарю, что мы жили бок о бок
в ужасе дня или радости дня,
робкой любовью приткнувшийся лобик —
лет через тысячу вспомни меня».

Я этих слов не сказал унижительно.
Кто прочитает это, скорей
матери ландыши принесите.
Поздно — моей, принесите — своей.

1983





ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Мы были влюблены.
Под бабкиным халатом
твой хмурился пупок среди такой страны!
И водка по ножу
стекала в сок томатный,
не смешиваясь с ним.
Мы были влюблены.

Мы были влюблены. Сожмись, комок свободы!
А за окном луны, понятный для собак,
невидимый людьми,
шёл не Христос по водам —
по крови деспот шёл в бесшумных сапогах.

Плевался кровью кран под кухонною кровлей.
И умывались мы, не ведая вины.
Струилась в нас любовь, не смешиваясь с кровью.
Прости, что в эти дни
мы были влюблены.

1985





* * *

Тебе на локоть села стрекоза
и крыльями перебирает —
как будто кожи близорукие глаза
спокойно стёкла примеряют.



ЖЁЛТЫЙ ДОМ

Девяностые

ПОВТОРНЫЙ АНГЕЛ

Валторна
блуждает в эфире. Мы снова одни.
Повторно
меня обними.
Оторвой
тебя называют, не ведая суть.
Повторный,
мой ангел повторный, со мною побудь.
Бессмертие спорно,
бесспорное — это ты.
Нет порно,
в любви все поступки чисты.
Из спорта
была наша встреча.
Мы парные, как «Reebok».
Повторная встреча
лифтёршей котируется как любовь.
Бесспорно.

Мы — эхо повтора.
Луна через шторы
рассыпала спичечный коробок,

мой ангел повторный,
храни тебя Бог!

Притворно
примеришь берет набекрень —
вальтово.

Ты слышишь валторну?
Сквозь всю дребедень —
валторна...

1990-е





* * *

Мы от музыки проснулись.
Пол от зайчиков пятнист.
И щеки моей коснулись
тени крохотных ресниц.

Под навесом оргалита,
нажимая на педаль,
ангел Божий алгоритмы
нам с Тобою передал.

1990-е





* * *

Мотыльковый твой возраст
на глазах умирает.
Обратиться ли в розыск?
Обвинят в аморалке.

Каждый раз после встречи
мотыльковые чувства,
мотыльковые плечи
на руках остаются.

Матерком твоим чистым
и толковым уменьем —
тороплюсь облучиться
чудным исчезновеньем.

Свет толкущийся, тайный
над тобою не тает —
мотыльки улетают!
мотыльки улетают!

Жемчуга среди щепня.
Лапдыши среди хвороста.
Расставаться волшебнее
мотылькового возраста.

1996



ИСПОВЕДЬ МОРДОВСКОЙ МАДОННЫ

Прости, Господь, свободу нашу пиррову!

Поздно, Господь. Прожектора врубили.
Мне дали денег за стриптиз — мешок.
За проволокой лагерь мастурбировал.
По проволоке пропускали ток.

— Давай, давай! — вопили над Россией.
Шёл звездопад. — Давай, давай! —
Аж автомат на вышке разрядился.
И мат татуированных секс-символов
клубился, как девятый вал.

— Давай, давай! — режут лесоповалы.
Им снились семьи, снилось Косино.
— Давайдавайдавайдавайдавайда...
При чём тут Вайда? Шло моё кино.

Я доставала их дистанционно —
аж голубые перековывались!
Ни Пугачёва, ни Мадонна
не испытывали такого.

— Давайдавайдавайдавайдавайда —
им снились их зарезанные свадьбы.
За баб я мстила. Кто-то ржал, кто плакал,
как будто лез на волю по столбу.
Я ненавижу тебя, лагерь.
Ещё не зная, что люблю.

Давай, мой лагерь! Я — твой путь к свободе,
когда душа сквозь тернии, сквозь срам
из тела вырывается, из body,
к Прекрасной даме, недоступной нам.

Мы все — дивайдид вайдавайдавайда,
сливаясь в стоне «шайбу! шайбу! шайбу!» —
покрыла урку Блока бледнота.
В интеллигенте разразился вандал.
Айда, но не понять — куда?
Ай да сеанс! Давайдавайдавайда...
Я ощущаю на себе, грязна,
инога режиссёра под кувалдой
томящиеся в лагере глаза.

Кавказцы, россияне и прибалты,
любите небо, сбросивши ножи!
Летите в тучах, дирижёров фалды!
Динамики, с турбазы подвывайте!
Я отдалась народу под Вивальди.
Искусство — мастурбация души.
Честнее всенародно, чем приватно.
Господь, прости меня и накажи.

Зачем, скажи, для денежного фарта
меня ты отдал дьяволам в ночи?

В тайваньских джишсах, тайной
замордованной,
пройду я, безымянна для людей,
став неизвестной копией Мадонны,
порн — но звезда мордовских лагерей.

Меня потом искали люди зоны,
в мечтах озолотив или зарезав.
Крутились диски телефонов.
Крутились диски «Мерседесов».
Дышала ночь острогом сладострастья.
За жизнь я мужиков имела — класс! —
по с пими не испытывала счастья...
Я отвлеклась...

Когда ж прожектор вырубил затейник —
«набисдавайдавайдавайнабис» —
я подожгла мешок проклятых денег.
Взвыл лагерь. Продолжается стриптиз.

Пылает тело в свете грязных денег...
Паришь дистанционно Ты,
как недоступное виденье,
как гений чистой красоты.

Потом сквозь давку и асфальты
идёшь одна на фестиваль
и слышишь: «Вайда. Вайдавайдавайда
вайдавайдавайдавайдавайдавай».

1996





УЛЁТ 1

на деревьях висит тай
очки сели на кебаб
лучше вовсе бросить шко
Боже отпусти на не

ель наденет платье диз
фаны видят мой наф-на
и на крыше нафтали
Боже отпусти на не

не мелодия для масс
чево публику пуга
Зыкина анти му-му
Боже отпусти на не

тятя тятя наши се
цаца папа ца мертве
Леннона проходят в шко
Господи пусти на не

до свидания бельмон
инактриса пошла к
зонцы выбирают барби
Нику дали шизофре

риновскую вкушают СМИ
ад пусти меня на зап
да хотя бы в пику
enthusiasm это kitch

оба сели в свои вольв
мент проверил их доку
оказались безрабо

ердие безрукой Милос
тронь фонариком мне ну
много в человеке те

политически ужо
единенье каждый раз
сколько жён/ударов в мин
я кричу что гибнет Росси

Боже отпусти на не
лампа-жизнь разбилась попо
ты не оправдала меч

Боже отпусти на не

1997





УЛЁТ 2

манит в дорогу ту
дьявол или Госпо
дамочка шла по во
гала-загадка ша
духу можно по воз
зяме по воздуху нель
знание это собла
гала-загадка Бо
тетъ разреши уле
за волгу нужна ви
военный и тот раздво
шиш куда улети
любимая хочет пу
на тишине шума
in cша улетает кис
лампочками мига
гала-загадка Бо
рэмбо правнук Рембо
боди душу осво
милая сердцем пой
гала-загадку Бо

тает в лобовом стекле
тайный ангел не уле
шкаф плывёт когда я лягу
ревность вызывает птица
отекаешь после диск
гала-притяженье Бо
инакомыслие заскока
тает подо мною ле
«итит твою — шепнут — улет
ета ваши-то лета»
ганушкин сказал а хули
мы навеки подсуди
тает в августовском гуле
анаграмма леди Ди
1997





ДРЕВО БО

1

Босой, с тоской на горбу
земных свобод и табу,
приду к тебе, древо Бо,
где медитировал Бу.

Корни, как змей клубо,
плели и мою судьбу —
недосказанное Бо,
недопонятое Бу.

Ветки его раскидистые, как трубы теплоцентрали,
мешали табу и тубо.

«У» поднимало хобо.

Бу мычали: «Бо дай!»

Жабы дышали в жабо.

Под древние «буги-вуги»

выпархивали незабодки на Гоголевский бу

Болыжники играли в волейбо

Буди-гард проверял альков.

И тыщи зелёных часовенок

вонзались шпилями в небо.

Это были листья Бо.

Мы спрессованы в толпу,
будто спичек коробо
недосказанное Бу.
Неопознанное Бо.

Как корзина баскетбо
окольцован шейх на лбу.
«Бабы — не создание Бо» —
как учил великий Бу.

В третий глаз гляжу — в пупо,
как в подзорную трубу.
Недодуманное Бо.
Неразбуженное Бу.

Конь в пальто всё ждёт Годо.
Кар чернеет на дубу.
Неразгаданное Бо.
Недодуманное Бу.

Наш философ из сельпо
все буробит про борьбу.
Я люблю твою губу
с песенкою «Се-си-бо».

Англосакс сказал: «рейнбо».
Шантеклер сказал «Рембо».
А скинхед поправил: «Рэмбо»
и подал своё ребро.
На дворе Армагеддо.
Люди смотрят бельмонду.
Под невозмутимым Бо
медитирующий Бу.

Мы рассыпаны, как спички,
возлежим под деревом Бо.
В рассеянное небо
обленилось нас поднять.

Женщина, роняя шпильки,
возлежит трезва, как Спилберг.
Она нам не возражает.
Просто родила Бу.

2

Сидели четыре Бу.
Но главное было «Будто».

Погода тиха — будто пагода.
Бесконечность — будто бурунду.
И всё будто пело и плакало,
как музыкальный сундук.

Нам будущим было «Будто»,
вчера и сегодня — Бу.
Мы даже живём как будто,
но это театр Кибу.

Уличные бутоны
задумались об оргазме.
И слон в ушах, как в будённовке,
мечтал о противогазе.

Ты будто меня не забудешь,
когда не будет меня.

И листья, что вниз глядели,
чтобы вонзаться в небо,

имели, как виолончели,
в задничках острії...
Я опять за своё.

Бабка в деревне нашей,
нас вынеся на горбу,
будто царевна спящая
в целлофановом спит гробу...

3

Две тыщи триста лет
познание сквозь нас росло.
Монах нас ведёт — Скинхед,
сияющий, будто дупло.

Народы, сняв свои тапочки,
поняв, что спилить слабо, —
желаний цветные тряпочки
вешают вокруг Бо.

Сакс сказал: «Тгее Во».
Баян поправил: «Стрибо».
Скинхед послал на три бу
и вывесил свои атрибу.

Меж них свой шейный платок
я вывешу, как мольбу.
И в небе каждый листок:
«Мама! — кричит, — бо-бо!»

1999





ШАЛАНДА ЖЕЛАНИЙ

Шаланда уходит. С шаландой неладно.
Шаланда желаний кричит в одиночестве.
Послушайте зов сумасшедшей шаланды,
шаланды — шаландышаландышаландыша —
л а н д ы ш а хочется!

А может, с кормы прокричала челночница?
А может, баржа недодолбанной бандерши?
Нам ландыша хочется! Ландыша хочется!
Как страшно качаться под всею командой!
В трансляции вандала, вандала, вандала
«Лаванда» лавандалаванда не кончится.

А море, вчерашнее Russian, дышало,
кидало до берега пачки цветочные.
И все писсуары Марсея Дюшана
Белели талантливо. Но не точно.

И в этом весь смысл королев и шалавы
последней, пронзающей до позвоночника.
И шёпот моей сумасшедшей шаланды,
что я не услышал:
«Л а н д ы ш а хочется...»

1997



* * *

Памяти Г. С.

Розы ужасом примяты.
На морозе речь охрипла.
Игровые автоматы
озверевшего калибра
на канале Грибоедова
сбили женщину навывлет...
Золотую беззаветную
веру хорони, Россия!
Власть уходит к гробоведам.
В себе Господа мы предали, —
автоматы игровые.
21 ноября 1998 года





ДОМОЙ!

Пора! Дорожки свёртывают море.
Домой — к Содому и Гоморре.

В приливе чувства безутешного
с тебя подводная волна
трусы снимает, словно жешчина.
С тобой последний раз она.

1998





* * *

Тьма ежей любого роста
мне иголками грозила.
Я на дух надел напёрсток.
Жмёт, конечно. Но красиво.

1998





* * *

Я тебя очень... Мы фразу не кончим.
Губы на ощупь. Ты меня очень...
Точно замочки, дырочки в мочках.
Сердца комочек чмокает очень.
Чмо нас замочит. Город нам — отчим.
Но ты меня очень, и я тебя очень...
Лето ли осень, всё фразу не кончим:
«Я тебя очень...»

1999





ЭПИСТОЛА С ЭПИГРАФОМ

Была у меня девочка —
как белая тарелочка.
Очи — как очко.
Не разбей её.

Ю. Любимов

Ю. П. Любимову

Вы мне читаете, притворщик,
свои стихи в порядке бреда.
Вы режиссёр, Юрий Петрович.
Но я люблю Вас как поэта.

Когда актёры, грим оттерши,
выходят, истину поведав,
вы — божьей милостью актёры.
Но я люблю вас как поэтов.

Тридцатилетнюю традицию
уже не назовёте модой.
Не сберегли мы наши лица.
Для драки требуются морды.

Таганка — кодро молодое!
Сегодня с дерзкою рассадой
Вы в нашем сумасшедшем доме
решили показать де Сада.

В психушке уровня карманников,
Содома нашего, позорища,
де Сад — единственный нормальный.
И с ним птенцы гнезда Петровича.

Сегодня, оперив полмира,
заправив бензобак петролем,
Вы придуряетесь под Лира.
Но Вы поэт, Юрий Петрович.

Сквозь нас столетье просвистело.
Ещё не раз встряхнёте Вы
нас лебединой песней — белой
двукрылой Вашей головы...

То чувство страшно растерять.
Но не дождутся, чтобы где-то
во мне зарезали Театр,
а в Вас угробили Поэта.

1999





ЖЕМЧУЖИНКА

Очнись, жемчужина — моё тайное
национальное достояние.

Нас разделяют не расставания —
национальные расстояния.

Глаза выкалывая стамескою,
плача над беженкой Кустаная,
мы — достояние Достоевского,
рациональное отставание.

Мы, как никто, достаём свою нацию,
стремясь то на цепь, то на Сенатскую.
А ты живёшь иррационально —
глазами отсвета цинандали.

То сядешь с теликом на ставку очную,
а то в истерике дрожишь до кончика.
Живи, как хочется, ну, а не хочется —
«Вот дверь, вон очередь...»

Я плач твой вытер. Сними свой свитер.
Не рвись в Австралию и Германию.
Я не хочу, чтобы ты стала —
интернациональное достояние.

1999

РАУРА

Двухтысячные

САМОКАТЫ

В охру женщину макайте,
красьте ею луг Винсента!
Вон она — на самокате мчит,
похожа на проценты.

Маленькие камикадзе
между трейлеров с прицепом
проскользнут на самокате —
на колесиках процентов.

Вслед, отталкиваясь пяткой,
спятивший Мафусаил,
как лакеи на запятках,
на работу укатил.

Мчатся (вряд ли на работу)
члены русского Пен-центра
на свободу! на свободу!
на колесиках процентов.

Пузо, груженное бюстом,
самокатик, уноси,
как несут кочан капусты
электронные весы.

И не рассчитав удара,
толстомордик из качков
проскользит по тротуару
на колесиках очков.

От Малаховки до Мальты
роликам грозит закат.
Поколение асфальта
выбирает самокат.

Мир пузырится, как тоник.
Ты паришь, как на катке,
одноногий аистёнок,
стоя на прямой ноге.

Значит, не было ошибкой
наше детство нестерильное —
из доски и двух подшипников
мы идею мастерили.

Это кайф беспрецедентный,
знают взрослые и дети —
на колесиках процентов
пролететь через столетья.

— Куда мчишься, самокат?
— В Самарканд!

2000





* * *

Нас дурацкое счастье минует.
Нас минуют печаль и беда.
Неужели настанет минута,
когда я не увижу Тебя?

И неважно, что, брошенный в жижу
мирового слепого дождя,
больше я никого не увижу.
Страшно, что не увижу Тебя.

2000





ПЕРВЫЙ В ЖИЗНИ СНЕГ

Белое, белое, белое
с семечками людей.
Белые бультерьеры
синеют, как парабеллумы,
на абсолютно белом.
Больно глядеть!

Кусай белизну пломбирную!
Взвей лапами пух-перо!
На клавишах лабух лоббирует —
Лобби — лоббиллоббило — бело...

Шарпею не больше года.
Первый культурный шок.
Невинно идёт над городом
невидимый порошок.

Оставь человеку неба!
В груди у меня пожар.
Но завтра не будет снега —
шарпей сожрал.

И чтобы вы не пугались,
пред вами, хоть путь непрост,
как поднятый большой палец,
маячит шарпея хвост.

2001



XXL

Русский новейшина

Что там «новорусские»?!
В мир, испуг навеявши,
входят неворующие
русские новейшие!
Очень часто гений
на условность харкает,
что аборигены
называют «хакером».

Роковые Чацкие,
не поймут старейшины
рокового, чатского
юного новейшину!
Судьи Калифорнии,
чем срока навешивать,
постигайте формулу

рифмы «innovation»...
Лишь бы вы, старейшины,
талант не угробили...
Русскому новейшине
присудите Нобеля!
XXL.

Нынче время — крупных лаж,
краж, потерь.

Время — extra-extra-large —
XXL.

Прошлый век нам выдал марку —
«СССР».

Новый лидер носит майку
«Экс-экс-эль».

Выше всех на Новом годе
наша ель.

Мы живём по страшной моде —
XXL.

В небе лопаются молнии.

Тур Эйфель
примеряет джинсы модные
XXL.

Пётр Великий, выдув губки
с водкой эль,
акселерат, глушил из кубка
XXL.

XXL — НАШ ПУТЬ
К ПОБЕДАМ.
ГРОЗИТЬ
МЫ БУДЕМ ШВЕДАМ.

Мы — нейтрально элегантны
к грязи всей.

Мы — нитратные гиганты
XXL.

У мужчин, как и у женщин,
та же цель.

Несогласные на меньшее —
XXL.

Червячок в нас заголился.

Злит прогресс.

Дразнит антиглобализмом
буквы «S».

Ни экс-Маркс и ни экс-Ельцин —
наш Устав.

Мы желаем, XXL-цы,
чтоб стал мир — большое сердце,
extra-love.





ЗОЛОТАЯ СИНЕВА

Сколько пляжных песчинок!
Сколько в женщине пор!
Внешность с первопричиной
За Тебя ведут спор.

В каждой поре — песчинка.
Сколько времени? Но
все часы — на починке!
Время засорено.

Сколько мы засорили
в этой жизни с Тобой!
Скольких мы озарили
золотой синевой!

Эти брызги сухие —
точно искры души.
Что кому вы сулили?
И кого подожгли?

Но едва опочили —
просыпаетесь вы
в ореоле песчинок
золотой синевы.

Как в восторженном страхе
вихревого столба,
Ты крутилась, вытряхивая
целый пляж из себя!

Никакие бесчинства
тех, кто в Юрмале был,
не заменят песчинок
ювелирную пыль!

Даже в Юрский период
на руке бытия
две песчинки прилипли —
и Твоя, и моя.

Помнишь,
в Крито-Микенах
проглотила тоска,
закружив манекены
из живого песка?

Что ещё рассказали,
сквозь загар не сильны,
синячки под глазами
золотой синевы?

Всё окажется лажей.
Вновь очутитесь вы
в белом золоте пляжа
и чуть-чуть синевы.

В том тумане не ясно,
где и кто ты такой...
Я с Тобой обменяюсь
золотою ногой.



ДОЧЬ ХУДОЖНИКА

Все таланты его от дочери.
Он от дочки произошёл.
Гениальные многоточия
он малюет на мокрый шёлк.

Почему он, гулявший дочерна,
видит в бритвенном зеркальце
как великие очи дочери
расцветают в его лице?

Был он скряга, потухший кратер,
нынче пробует всем помочь.
изменила его характер
прародительница дочь.

А сама пиво пьёт наивно,
в комбинезончике, как оса,
переведши талант на имя
новорожденного отца.

А ему всех наград не надо
лишь бы мог день и ночь толочь:
«доча—доча—дочадочадо — ч а д о-
дочь».

Не таил он в душе заточку,
зато в будущем витал —
муку взяв на себя за дочку,
чёрный кайф предугадал.

Так закидывают альпинисты,
крюк с верёвкой на неба край,
чтоб вытягивала неистово
та верёвочка к Богу, в рай!

2001





ТЕРЯЮ ГОЛОС

1

Голос теряю. Теперь не про нас
Гостелерадио.
Врач мой испуган. Ликует Парнас —
голос теряю.

Люди не слышат заветнейших строк,
просят, садисты!
Голос, как вор на заслуженный срок,
садится.

В праве на голос отказано мне.
Бьют по колёсам,
чтоб хоть один в голосистой стране
был безголосым.

Воет стыдоба. Взрывается кейс.
Я — телеящик
с хором из критиков и критикесс,
слух потерявших.

Веру наивную не верну.
Жизнь раскололась.

Ржёт вся страна, потеряв всю страну.
Я ж — только голос...

Разве вернуть с мировых свозняков
холодом арники
голос, украденный тьмой
Лужников и холлом Карнеги?!

Мной терапевтов замучена рать.
Жру карамели.
Вам повезло. Вам не страшно терять.
Вы не имели.

В бюро находок длится делёж
острых сокровищ.
Где ты потерянное найдёшь?
Там же, где совесть.

Для миллионов я стал тишиной
материальной.
Я свою душу — единственный мой
голос теряю.

2

Все мы простуженные теперь.
Сбивши портьеры,
свищет в мозгах наших ветер потерь!
Время потери.

Хватит, товарищ, ныть, идиот!
Вытащи кодак.
Ты потеряешь — кто-то найдёт.
Время находок.

Где кандидат потерял голоса?
В компре кассеты?..
Жизнь моя — белая полоса
ещё не выпущенной газеты.

Го, горе!
Р you,
м м
ос те ю!

3

...Ради Тебя, ради в тёмном ряду
белого платья,
руки безмолвные разведу
жестом распятыя.

И остроумный новоосёл —
кейс из винила —
скажет: «Артист! Сам руками развёл.
Мол, извинился».

Не для его музыкальных частот,
не на весь глобус,
новый мой голос беззвучно поёт —
внутренний голос.

Жест бессловесный, безмолвный мой крик
слышат не уши.
У кого есть они — напрямик
слушают души.

2002



БУЛЬВАР В ЛОЗАННЕ

Шёл в гору от цветочного ларька,
вдруг машинально повернул налево.
Взгляд пригвоздила медная доска —
за каламбур простите — «ЦветаЕва».
Зачем я езжу третий год подряд
в Лозанну? Положить два георгина
к дверям, где пела сотню лет назад —
за каламбур простите — субмарина.

С балкона на лагуну кину взгляд
на улочку с афишей «Vagina».
Есть звукоряд. Он непереводимый.

Нет девочки. Её слова болят.
И слава богу, что прошла ангина.





ОСЕНЬ ПАСТЕРНАКА

Люби меня!..

Одна была — как Сольвейг,
другая — точно конница Деникина.
Заныкана общественная совесть!
Поэт в себе соединял несое-
динимое.

Две женщины — Рассвета и Заката.
Сегодня и когда-то. Но полвека
жил человек на ул. Павленко,
привязанный, как будто под наркозом,
к двум переделкинским берёзам.

Он, мальчика, меня учил нетленке,
когда под возмущения и вздохи
«Люби меня!» — он повелел эпохе.

Он не давал разъехаться домашним.
«Люби меня!» — он говорил прилюдно.
И в интервью «Paris dimanche»-м,
и в откровении прелюдий.

Любили люди вместо кофе — сою.
И муравьи любили кондоминиумы.

Поэт собой соединил несое-
динимое,
любили всё: объятия, и ссоры,
и венских стульев шеи лебединые.

А жизнь давно зашла за середину,
У Зины в кухне догорали зимы.

А Люся, в духе Нового Завета,
была, как революция, раздета.
Мужская страсть белела, как седины.
Эпоха — третья женщина поэта,
его в себя втыкала, как в розетку —
переходник для неисповедимого.

У Зины в доме — трепет гарнизона,
и пармезан её не пересох.
У Люси — нитка горизонта
развязана, как поясок.

— Вас сгубит, переделкинский отшельник,
не царь, не государственный ошейник, —
две женщины вас сгубят.

I'm sorry.

Настали времена звериные.
Какие муки он терпел несои-
змеримые.

А жёны помышляют о реванше.
И, внутренности разорвавши,
берёзы распрямлялись:
та — в могилу,
а эта — с дочкой в лагерь угодила.
И в его поле страшно и магнитно

«Люби меня!» — звучит
без возражений.

И этим совершалось воскрешенье.

Летят машины — осы Патриарха.
Нас настигает осень Пастернака.

У Зины гости рифмами закусывали.
У Люси гости — гении и дауны.
Распятый ими губку в винном соусе
протягивает нам
из солидарности.

У Зины на губах — слезинки соли,
у Люси вокруг глаз синели нимбы...

Люби меня!
Соедини несое-
динимое...

Тебя я создал из души и праха.
Для Божьих страхов, для молитв
и траханья.
Тебя я отбирал из женщин разных —
единственную.
Велосипедик твой на шинах красных
казался ломтиками редиски.

Люби меня!
Философизм несносен.
Люзина? Люся?! Я не помню имени.
Но ты — моя Люболдинская осень.
Люби меня!
Люби меня!
Люби меня!

Лик Демона похож на Кугультинова.
Поэт уйдёт. Нас не спасают СОИ.
Держава рухнет треснувшей льдинойю.

ПОЭТ – ЭТО РАСПЛАТА ЗА НЕСОЕ-
ДИНИМОЕ

2003



НОВЫЕ СТИХИ

ОЗЕРО ЖАЛОСТИ

Твои очи — Женевское озеро.
Запрокинутая печаль.
Кто-то бросил? Сама ли бросила?
Жаль. На жизни написано: «ЖАЛЬ».

Вспышки чаек, как приступы боли,
что ко мне, задышав, спешат.
Точно пристальные магнолии,
украшающие ландшафт.

Сплющен озера лик монголоидный.
Вам в душе не летать уже...
Нелетающие магнолии,
или парусник в форме «Ж».

Упредивши мужские шалости,
пережив успех и позор,
мы спускаемся к озеру Жалости,
может, главному из озёр.

Жизнь истоптана, как сандалии.
В диафрагме люди несут
это чувство горизонтальное,
сообщающееся, как сосуд.

Вздёрни брючный манжет, точно жалюзи!
И летит, взяв тебя в полон,
персональное озеро Жалости,
перепончатое, как баллон.

Жаль, жалейка не повторится!
Жаль — Кустурица не Бежар,
жаль — что курица не жар-птица,
жаль.

Жаль прокладки, увы, не лампадки,
озаряющие алтарь.
А шарпея, смятого в складки,
что, не жаль?

Жальче, что моей боли схватки
тебя бросят в озноб и жар?

Почему это всё продолжается,
как элегия Балтрушайтиса?
Кто у чаши отбил эмаль?
Мы устали жалеть? Пожалуйста!

Нету озера! Нету жалости!
Опустите брючные жалюзи.
Проживём без жалости... Жаль.

Понимаю, есть женские козыри,
шулер некая, точка ги! —
шулер, некая точка рю,
чашу лермонтовскую допью...

Тебе фото Женевского озера,
точно зеркальце, подарю.



СОСКУЧИЛСЯ

Как скученно жить в толпе.
Соскучился по Тебе.
По нашему Сууксу.
Тоскую. Такой закрут.
По курточке из лоскут,
которую мы с Тобой
купили на Оксфорд-street.
Ты скажешь, что моросит...

Скучаю по моросьбе.
Весь саксаулочный Крым,
что скалит зубы в тепле,
не сравнится с теплом Твоим.
Соскучился по Тебе.

По взбалмошному леску
с шлагбаумовой каймой,
как по авиаписьму,
отосланному Тобой.

Соскучился по шажку,
запнувшемуся в дому.
Соскучился по соску,
напрягшемуся твоему.

Всю кучерскую Москву
ревную я потому,

что жили мы пять минут,
и снова опять во тьму!
И нас спасти не придут
ни Иешуа, ни Проку-...

Все яблочки из прейску-
червивые, точно Q.

Угу!
Я — совсем ку-ку!

Сейчас заскулю как су-
ка бескудниковская! Хочу
замученные жемчу-
жины серых Твоих глазищ!

Ты тоже не возражишь,
что хочешь на Оксфорд-street.

Гитара в небе летит.

При чём она? А при том!
Сказал мне Андре Бретон
о том,
что летит она,
похожая на биде!

Паскуды! Пошли все на!..
Соскучился по Тебе.

Соскучился и т. п...



ПЛОХОЙ ПОЧЕРК

Портится почерк. Не разберёшь,
что накарябал.

Портится почерк. Стил ь нехорош,
но не характер.

Солнце, напрягшись, как массажист,
дышит, как поршень.

У миллионов испорчена жизнь,
воздух испорчен.

Почки в порядке, но не понять
сердца каракуль.

Точно «Варяг» или буквочка «ять»,
тонет кораблик.

Я тороплюсь. Сквозь летящую дичь,
сквозь нескладуху —
скоропись духа успеть бы постичь,
скоропись духа!

Бешеным веером по февралю
чиркнули сани.

Я загогулину эту люблю
чистописанья!

Скоропись духа гуляет здесь
вне школьных правил.
«Надежды нету — надежда есть»
(Апостол Павел).

Почерк исчез, как в туннеле свет.
Незримый Боже!
Чем тебя больше на свете нет —
тем тебя больше!





ПРЕМЬЕРА

Крик прорезал великолепие
смятых ужасов. Се ля ви.
Чехов умер от эпилепсии
на премьерe фильма «Свои».

Умер парень с фамилией Чехов:
фильм — от ужасов жизни суд.
Не до смехов. Не до успехов.
Люди в саване тело несут.

Ключья пены эпилептической.
«Скорая» торопится, но без раболепия,
полицая в пузо эпилептическое
тычет ножиком эпилепсия.

Вы скажите, актёр Евланов,
гениально сыграв простоту,
почему страшней всех экранов
смерть глядит в четвёртом ряду?

Кем он был? Ничего достоверного.
На фасаде лестница, как порез.
В день рождения Достоевского
вдруг прозреем через болезнь?

Он пришёл без друга, без женщины.
В небеса, как дуга троллейбуса.
Из процентщины, из прожженщины
вырывается эпилепсия!

Я стою, представитель племса,
мну фуражечку очумело.
Продолжается эпилепсия.
Это ещё премьеры.





ИВАН-ЦАРЕВИЧ

Нагни позвоночник ликующий.
Когда, безоглядно и древне,
Тебя волшебной лягушкой
начну превращать в царевну.





Ю. Д.

Юрий Владимирович Давыдов.
Смущал он, получив «Триумф»,
блатною шапочкой ликвидов
наполеоновский треух.

Бывалый зэк, свистя Вертинского,
знал, что прогресс реакционен.
За пазухою с четвертинкою
был празднично эрекциянен.

На сердце ссадины найдут его.
Стыдил он критика надутого:
мол, муж большого прилежания
и ма-алого дарования.

Бледнели брежневы и сусловы,
когда, загадочней хасидов,
за правду сексуальным сусликом
под свист выскакивал Давыдов.

Не залезал он в телеящички.
Мне нашу жизнь собой являл.
И клинышек его тельняшки
звенел, как клавиша цимбал.

Вне своры был, с билетом волчьим.
Он верил в жизни торжество.
Жизнь поступила с ним, как сволочь,
когда покинула его.





ХОББИ

Неабстрактный скульптор,
беспорный Поллок,
собираю скальпы
мыслящих бейсболок.

Мысли несовковые,
от которых падаю,
и гребут совковою
с козырьком лопатую.

Проступают мысли
вверх ногами скорби.
Это моя миссия,
это моё хобби.

Нету преступления —
в мыслях, но — ей-богу (!),
хорошо бы от Ленина
найти бейсболку!





* * *

Михаилу Жванецкому

Проктолог — отоларингологу:
«Сквозь лявву вижу вашу голову.
В дыру тоннеля бесконтрольного
я вижу божий свет и горлинку».

Проктолог — отоларингологу:
«Ночами и парторги голые!
Вглядитесь в глубину парторгову!
Отари Ларина потрогала».

Проктолог — отоларингологу:
«Не запивай пулярку колою!
Путь к воскрешенью зафрахтован
нам Франкенштейном и Фрадковым».

Проктолог — отоларингологу:
«Патрон наш срок не пролонгировал
С тротилом тачка припаркована.
С одной Тобою нет прокола».

Проктолог — отоларингологу:
«У Ларри Кинга ргіск с приколами.

Россия славится расколами.
Ахматова сгубила Горенко».

Ты, Миша, брутто-гениален
меж непробудных гениталий.
Стране, дежурящий, ты дорог
как практикующий проктолог!

Пускай другие врут с три короба:
«Шнур популярнее Киркорова».





* * *

Ландышевый дом.
Пару лет спустя
я приеду днём,
когда нет тебя.
Я приду в сад,
сад взаправдашний.
На сушилках висят
чашки ландышей.
Хватит лаяться.
По полям ушла
«Шоколадница»
с чашкой ландыша.
За окошком в ряд
мини-лампочки.
Фонари горят
или ландыши?
У тебя от книг —
пополам душа.
Как закладки в них
листья ландыша.
Твоя жизнь — дневник,
вскрик карандаша.

В твою жизнь проник
запах ландыша.
Всё в судьбе твоей
полно таинства.
Приходи скорей —
зачитаемся!





ОДА МОЕЙ ЛЕВОЙ РУКЕ

Рука, спасибо за науку!
Став мне рукой,
ты, точно сука, одноуха,
болтаешься вниз головой...

Собаки — это человечье,
плюс — animal.
Мы в церкви держим в левой свечки,
чтоб Бог нас лучше понимал.

А людям без стыда и чести
понять помог
мой аргумент мужского жеста,
напрягшегося, как курок.

Ты с женщинами непосредственно
вела себя.

Ты охраняешь область сердца, —
боль начинается с тебя.

Ты — это мой самоучитель,
ноты травы.
Сегодня все мои мучители —
это мучители твои!

Когда ж чудовищная сила
меня несла —
башку собою заслонила,
меня спасла...

Но устаёшь от пьедестала.
Моя ж рука,
вдруг выкобениваться стала,
став автономно далека.

Я этот вызов незаконный
счёл за теракт!
Но — хочет воли автономий
анатомический театр!

Я твой губитель, я — подлец.
Ты чахла.
Обёртывалась новой чакрой
неизлечимая болезнь.

Ты мне больничная запомнилась.
Забуть нельзя.
Лежишь, похожа на омовца,
замотанная по глаза.

Не помню я тебя скулящей,
когда скорбя,
мы с мировыми эскулапами
осматривали тебя.

Как мог я дать тебя кромсать
ножам чужим и недостойным,
мешая ненависть со стоном?!
Так, вашу мать!

Междоусобны наши войны.
Дав свою плоть,
мы продаем себя невольно
и то, что завещал Господь.

Мне снится сон: пустыня Гоби.
На перевязи, на весу,
как бы возлюбленную в гробе,
я руку мёртвую несу.

Возлюбленная — как акула.
Творя инцест,
меня почти совсем сглотнула,
ещё секунда — сердце съест!

Прощаюсь с преданною жизнью.
Рука ж вполне здоровая —
на ней повисну, как тощий плащ или кашне.



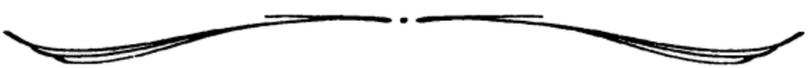


* * *

Ты, наклоняясь, меня щекочешь,
и между мною и тобой
качнётся крестик на цепочке,
как самолётик золотой.

Так меж нас, когда мы озоруем,
как зов столетия иным,
порхает крестик поцелуем,
материализованным.





Х. В.

Пещера за мною искрит, как кресало.
Я — воскресаю.

Мария, поверь мне! Окстись, Куросава.
Я — воскресаю.

Под нами ристалища. Птичьи стаи.
Мелькают бутылками башни Кремля.
Я потрясающе воскресаю.
Качнётся затылком планета Земля.

Я — воскресаю!

Летит сзади жизнь, как пустая соломинка.
Иные пути горизонт отворил.
И некто, весь в белом, похож на садовника,
как будто бы камень с души отвалил.

Но каждая малость в селенье Эммаус
кричит: «понимаешь,
чуток задержись!»

Неужто бессмертье, куда подымаюсь,
ценней, чем гримасничающая жизнь?

Работа тяжёлая — воскресение:
осталась кровавая мука испарины.
Она — никаким неземным просветлением,
увы, не исправлена.

На третьи сутки ты встанешь разутая,
увидишь на кухне разгромленный стол,
ты в полном рассудке, но это не шутка, —
кто-то вошёл.

На третьи сутки я вызову трепет.
Ты лучше в Евангелие посмотри.
Сталин умер в 53-м,
Воскресший дал рыбин — 153.

А ножки твои холодны, как рыбёшки.
Опять воскресенье в преддверье весны.
«Опять те же сны», — ты сквозь сон
улыбнёшься.

И я в потрясенье! «Опять те же сны...»

Ты знаешь, как вырубить полтергейста,
как выбрать шпинат.
Но даже под стрижкой посттургеневской
тебе воскресения не понять.

Во мне воскресают и Пресня, и Пресли,
и папские инвалидные кресла.

Тайфун поглощает людскую заразу,
как ухо безумного унитаза!

Крысиные страхи — кораблекрушение.
Начальников фукаю.

Горят керосинные воскресения.
Горят люди-факелы.

И жаждет реванша эстрады жупел.
Фома прозревавший мне раны щупал.

Всё стало обычным, как чай с круассаном.
Я — воскресаю.

Со свечками торт розовеет, как вымя,
полтергейсты его вкушают.
Бог назвал нас «жестоковыми»
с необрезанным сердцем и ушами.

Мультяшки Японии,
грусть Хокусая,
другими непонятый —
в других воскресаю.

Ни сплетен, ни слухов,
пазлo медицине.
Во имя Духа,
Отца и Сына.

Я нужен — как пристани
зов парохода.
Я знаю, что истина —
это Свобода.

Как будто безумный моряк на мачтах,
не понимаю, что восклицаю,
я вижу тебя, перодившийся мальчик,
тебе — воскресаю.

В Лопаткиной вдруг проступает Карсавина.
В Других — ВОСКРЕСАЮ!

Мои зубы смеются с улицы.
Мои губы с Твоими целуются.
Мои руки с Твоими сплетаются —
это муки реабилитации.

Мои очи — укор очкарикам.
В моих почках — «бочковое с гарником».
Мысли-мухи в мозгу базарятся.
Это муки цивилизации.

Этажи снижаются в лифте.
Дух мой с плотью ещё в конфликте.
У Есенина спазмы шейные —
это плата за воскрешение.

Пускай назавтра след потерялся,
жизнь — метафора христианства.
Гамадрилы гадят в церковке сельской,
мой прапрадед — архимандрит Возне-
сенский.

XX век улетает, тлея,
как два креста Святого Андрея.
В XXI соединим,
+ один муэдзин.

Мощным крещендо
шатая зал,
своим воскрешеньем
Христос сказал:

«Я первый страдаю
от бед несуразных,
в Тмутаракани, в Гвинее-Бисау
я вас заслоняю крестообразно,
за всех — ВОСКРЕСАЮ!»



ПЕСЕНКА

Сбит месяц набекрень,
как козырёк на лбу.
Всё в мире дребедень,
но я тебя люблю!

Усадьба — а-ля Лувр,
Ус Чаплина — дабл ю.
Вздохнут духи «Аллюр»,
а я тебя — люблю!

Купите ТераФлю,
кончайте террор, бля!
Курите коноплю!
А я люблю — тебя!

Как дятел, я долблю,
верблюдов веселя.
Цепочкой из w
жужжжжитполётшмеля
шмаляйте по шмелю!

И, вызывая смех
у нашего зверья,
ты скажешь: «Больше всех
люблю тебя!» А я?



* * *

Я хочу Тебя услышать.
Я Тебя услышать хочу.
Роза, ставшая усыхать,
шорох вечности обрета,
мне напомнит каракульчу.

Звук— пустышка, белиберда.
Стакан, звякнувший по кольцу.
Я хочу услышать Тебя,
прядь, что нотным ключам под стать,
и кишку, что бурчит опять, —
я хочу Тебя услышать —
блузки шелесты по плечу...

Всю Тебя услышать хочу.





ПРОЩАЙ, САЙГАЧОНОК!

Вертолётной охоты загадка —
тень, скакнувшая по холмам.
Как глазастый детёныш сайгака,
умерла Франсуаза Саган.

Нынче кажется несуразно —
когда мне, учащая пульс,
ты представилась: «Франсуаза»,
как сказала бы — «Здравствуй, грусть».

Стала горьким слоганом фраза.
Мне хотелось всего и сразу.
Я обидел тебя, Франсуаза.
С длинноногой ушёл, как хам.
Мы с тобой — скандальные профи,
персонажи для PAL/SECAM.
Виноватую чашечку кофе
не допью с Франсуазой Саган.

Кеды белые, как картофель
ежедневных телереклам.

Кто вмонтирован в современность —
Магомет или Иисус?

Нашей дезе: «Да здравствует ненависть!»
отвечаешь ты: «Здравствуй, грусть».

Нашим дням, ты сказала бы — полный,
не Великий пост, а постец,
Сайгачонку сломали крестец.
Абазур протрезвевший вспомнит
твою фразу: «Bonjour, tristesse».

Я теперь брожу по Парижу,
Грусть нелепа, как омнибус.
Всё прекрасно и не паршиво.
Наспех с кем-нибудь обнимусь.
Вдруг ты выглянешь, сайгачонок,
и в глазах твоих огорчённых —
Bonjour, грусть...

Там Гольбеин пьёт с Куртом Кобейном.
Тома Круза ждёт в гости Пруст.
Все обиды теперь — до фени...
Точно кайф мечты наизусть,
мне над чашечками кофейными
повторяешь ты: «Здравствуй, грусть».

Инакомыслие кокаина.
Ты простила. У ангелов стресс.
Мне прощаться с тобой наивно.
До тебя лишь один присест.
Груз души, что в тебе повинна,
тяготит. Абазур нетрезв.

Прощай, грусть. Твой «bonjour, tristesse!»
Как ты Там? С кем шнуруешь кеды?
Я от ужаса отшучусь:
«Сайгачонок, бонжур, покедова!»
Прощай, грусть!



СЕМИДЫРЬЕ

В день рожденья подарили
мне заморский дылбушир.
Сальвадорье. Семидырье.
Трёх вакханок чёрных дыр.

Что пророчат их проделки?
Чтобы вновь башку разбил?
Кабинет мой в Переделкино
свищет сквозняками дыр.

В каждой женщине — семь дыр:
уши, ноздри, рот и др.
Но иного счастья для
есть девятая дыра.

Автор в огненном тюрбане
продуцирует стриптиз —
гениальный Мастурбатор?
Фиолетовый флейтист?

Праздник — шумная ходынка.
Но душа заштопана;
закупоренная дырка.
Кто бежит за штопором?

Ищет рай душа Яндырова,
потеряв ориентир.
Что в подарок мне вкодировал
гений, прародитель дыр?

Сбросьте иго истеричек!
Дар — возможность стать собой.
Супернеэгоцентричность —
быть дырой.

Радырадырадыра —
возрождаемся, даря.

Сталин — Дали семинарий.
Что же, Господи, нам делать?!
И какое семидарье
жить с звездой № 9!





НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ

Романс

Я в панике, что ты меня покинешь!
Сегодня. Не когда-нибудь...
Ни бабки, ни эфир паникадилищ
не смогут мне тебя вернуть.

Не кинь меня! Ты отвечаешь: «Да уж...»
Под мышками жжёт старая трава,
я чувствую, меня ты покидаешь.
Сила оставила твоя.

Ты обожаешь по-китайски!
Уток пекинских — птичий грипп — нема.
Я чувствую, меня ты покидаешь.
Не кинь меня.

Женщина, застенчивая, как Кинешма,
вдруг станешь киллером синема?
Ты все равно когда-нибудь меня покинешь...
Не кинь меня!

Двустворчато окно киноманжетины.
И примула — как запонка окна.

«Таких, как я, не покидают женщины!»
Вдруг ты покинула меня?

Стыд архаичен, точно якобинец.
В кабинку автомата — толкотня.
Ты скажешь: «Финиш! Как тебя покинешь?»
Как ты останешься без меня?..





СТИХИ, НАПИСАННЫЕ В КЛИНИКЕ

Пешим ковбоем пишу по обоям.
В рифмах мой дом.
Когда Тебе плохо — плохо обоим —
двое в одном.

Мы вне общественного участия.
Век проживём.
Только вдвоём причащаемся счастьем,
только вдвоём.

Не помяну Тебя в пошлых диспутах
и в интервью.
Всех продаю. Твое Имя единственное
не оскверню.

Мысль изречённая, ставшая ложью,
сгубит себя.
Имя Твоё холодит, точно ложечка
из серебра.

Так существуем, не потакаемы
сточной толпой.
Но ты — такая.
И я — такой.

Разве поймёт зарубежная клиника
наш живой стих —
эти каракули, стенную клинопись,
стих для двоих?!

Жалко не жизни — проститься с про-
странством,
взятым внаём.
Страшно — придётся с Тобою
расстаться,
быть не вдвоём.

Сволочью ль стану, волком ли стану —
пусть брешут псы.
Наша любовь — оглашённая тайна.
Не для попсы.



ГЕНИАЛЬНАЯ ОШИБКА

ВЕСЁЛЕНЬКИЕ СТРОЧКИ

И потом Тебя не будет.
Не со мной. А вообще.
Никто больше не осудит
мой воротничок в борще.

Прекратится белый холмик —
мой и твой ориентир.
Превратится в страшный холод
жизнь, что нам я посвятил.

Оказалось, что на деле
всё ушло на пустяки.
Мы с Тобою не успели
главного произнести.

Превратится в дырку бублик,
всё иное не стерпя.
А потом меня не будет.
Без меня. И без Тебя.





Я ДРУГОМУ ВИНОЙ

С крыши капает время,
оплывая, как воск.
Комсомольская Эмма.
Молчаливый Свердловск.

Все вертается заново.
Я неважный теург.
Эмма стала Рязановой.
Свердловск — Екатеринбург.

Я другому виной.
Говорят, что обком,
спровоцирован мной,
снёс Ипатьевский дом.

Я опять не влюблюсь.
Вместо взорванных ям,
как подколотый бюст,
новый высится храм,

Ты слезами закапана.
Детский слышится крик —
августейший здесь капор
насадили на штык.

Скейтинг-рингом летит
катерининский яр.
Тихой свечкой горит
стеариновый царь.

Продолжают паломники
стеариновый бум.
Мы с тобою помолимся
за Екатеринбург.





ДИРИЖЁРКА

Деклассированные вурдалаки
уподобились комарью.
Ты мне снишься во фраке,
дирижируешь жизнь мою!

Я чувствую переносицей
взгляд напряжённый твой.
Ко мне лицом повернёшься,
ко всем — другой стороной.

Волнуется смятый бархат.
Обёрнутое ко мне,
твоё дыхание пахнет
молодым каберне.

Музыкально-зеркальная зомби,
ты стоишь ко мне — боже мой! —
обернувшаяся лицом ты! —
а ко всем — другой стороной...

И какой-то восторженный трепет
говорит тебе: «Распахнись!»
Возникающий ветер треплет
взмахи крохотные ресниц.

Когда же лапы и ручки
рукоплещут, как столб водяной,
ко мне повернёшься лучшей,
главной своей стороной!

И красные ушки в патлах
просвечивают, красны.
И, как фартук, болтаются фалды
как продолжение спины.

Те фалды, как скрытые крылья
у узниц страшной страны, —
как будто кузнечики Крыма,
что в чёрное облачены.

За тобою лиц анфилады
и беснующийся балкон.
Напрягаются обе фалды,
изгибающиеся в поклон.

И под фалдами треугольничек
проступает эмблемой «треф».
Так бывает у горничных,
реже — у королев.





ВИРТУАЛЬНОЕ ВРУЧЕНИЕ

1

Я вручаю Пастернаковскую премию
мёртвому собрату своему,
Бог нас ввел в одно стихотворение,
женщину любили мы — одну.

Пришло время говорить о Фельтринелли.
Против Партии пошёл мой побратим.
Люди от инстинкта офигели,
совесть к Фигнер послана фельдъегерем,
может, террор имитировал интим?

Как спагетти, уплетал он телеграммы,
его профиль к Джакометти ревновал,
я обложку книги сома апо
с именем Джакомо рифмовал.

В нём жила угрюмая отвага:
быть влюблённым в Пастернака, злить печать,
на свободу выпустить «Живаго»
и в дублёнки женщин наряжать!

Я вручаю Фельтринелли-сыну
золотой отцовский реквизит,
как когда-то ему, мальчику, посыльным,
Дилана автограф привозил.

Что бы мы, убогие, имели,
если б Фельтринелли не помог?!
По спинному мозгу Фельтринелли
дьявола шел с Богом диалог...

2

Усмехаясь, ус бикфордовый змеился,
шёл сомнамбулический роман...
Было явное самоубийство,
когда шёл взрывать опору под Милан!

Женщина, что нас объединяла,
режиссировала размах.
Точно астероид идеала
в нас присутствовал Пастернак.

Как поэт с чудовищною мукой,
никакой не красный бригадир,
он мою протянутую руку
каменной десницей прихватил.

Он стоит, вдев фонари, как запонки,
олигарх, поэт, бойскаут, шалопай.
Говорю ему: «Прости, Джан Джакомо!»
Умоляю: «Только не прощай!»

Разоржаться мировой жеребщине,
не поняв понятие «апельсин»!
Тайный смысл апассионатной женщины,
тая, отлетит необъясним...

На майдане апельсины опреснили,
нынче цвет оранжевый в ходу.
Апельсины, апельсины, апельсины
меня встретят головешками в аду.

3

Жизнь прошла. Но светятся из мрака,
в честь неё зажжённые в ночи,
общим пламенем на знаке Пастернака
две — мужских — горящие свечи.





КРАСИВАЯ СТОМАТОЛОГ

Сто моторов оглашают беспредельщину.
Сто мужланов подают тебе манто.
Стоматологическая женщина,
вечно делаешь логически не то!

Стоматолог хуже, чем проктолог:
видеть зубы, поражённые гнильём,
и пикантным словарём, без протокола,
рассказать про человеческий гильом.

Общество опасное, когда жопастое.
— Чем заклинивалась из идей?
— Мечтаю о клинике, о своей!

Но однажды, сполоснув клиента «зельтерской»,
ты увидишь, как на донышке, дыша,
точно бабочка, вспорхнёт над круглым
зеркальцем
ослепительная Божия Душа.

«Оботри мне благодарственные слёзы,
чтобы видеть это чудо наяву!
Я готова все вдохнуть пародонтозы
и от счастья задохнуться, что живу!»

Стоматологическое зеркальце
и аналогичная душа.

Ты, астрологическая женщина,
вместо логики поэзию нашла.

Дочка репрессированных смолоду,
чем Шанхай тебя прищуренный привлёк?
Господи, прости ей стоматологу —
мотыльковый ветерковый матерок.





ПАМЯТИ НАТАШИ ГОЛОВИНОЙ

Дружили, как в кавалерии.
Врагов посылали на...
Учила меня акварелить
Наташа Головина.

«Что моет нам кисти? Разве
не женский эмансипат?
Андрюша, попробуй грязью
красивое написать!»

Называется нейтральтином
задумчивый смыв кистей.
Впоследствии Тарантино
использовал слив страстей.

Когда мы в Никольском-Урюпине
обнимались под сериал,
доцент Хрипунов, похрюкивая,
хрусть томную потирал.

Была ты скуласта, банзаиста.
Я гол и тощ, как горбыль.
Любил ли тебя? Не знаю.
Оказывается — любил.

Мы были с тобою в паре.
Потом я пошёл один.
Обмывки страстей создали
чудовищный нейтральтин.

Карданной церковной башней,
густой вызывая стыд,
рисунок твой карандашный
в моей мастерской висит.

Выходит шедевр тем краше,
чем больше в мире дерьма.
Оправдано кредо наше,
Наташа Головина.





РАДИ ТЕБЯ

Ради тебя надрываюсь на радио —
вдруг ты услышишь, на службу идя,
я в этой жизни живу Тебя ради.
ради Тебя.

Я тренажёры кручу Тебя ради,
на пустом месте педали крутя.
В жизни, похоже, я кем-то украден.
И надо мною кружат ястреба.

Между убийцами выбор и пройдами.
Не ради «зелени» и тряпья,
не для народа я пел, не для Родины —
ради Тебя, ради Тебя.

Точно на диске для радиолы
дактилоскопическая резьба —
без твоих пальчиков мне одиноко!
Приди ради Бога, ради Тебя.

Не в Петербурге, не в Ленинграде —
в небе над Невским мы жили с тобой.
Третий глаз в лоб мне ввинтишь Тебя ради
антикокардой. Это любовь.

В моих фантазиях мало доблести,
жизнь виртуальную торопя,
я отучаю тебя от комплексов ради
Тебя, ради Тебя.

Пусть пародийны мои парадигмы.
Но завтра сбудется трепотня.
Если умру я, повторно роди меня —
роди ради Бога, ради Тебя.



ГВОЗДЬ ОТ ДРУГОЙ СТЕНЫ

* * *

Я думал, Ты — звёздная женщина,
без минусов и теней —
не просто постельная сменщица
простыней.

Я думал, Ты — моя фабула.
Но с ужасом узнавал,
что девка с чулочной фабрики,
выходит, Твой идеал.

Глаза подымаю. Я понял.
Звезда бежит на порог.
И след продолжается по небу,
как спущенной строчкой чулок.

К рекордам идут калеки,
снимают с гвоздя Христа.
Бежит по твоей коленке
спускающаяся звезда.



СТАСУ НАМИНУ

Я писал «Треугольную грушу»,
для своей страны непристойен.

Миллионам открыла душу
треугольная Sharon Stone.

Стала барышня хулиганкою,
нам мигает, не арестован,
с бесшабашною элегантностью
▼ — чек Шарон Стоун.

Над врагами и над околицей,
в знак протеста,
что показывает раскольница,
сжав двуперстье?

На запястье часы золотые,
а в руках её НОСТАЛЬГИЯ.

Слёзы проповеди Нагорной.
Тайны горничных телефонные.
Вальс Ростовой стал
вальс-бостоном.
Шарф насилья —
псалмом Христовым.

треугольничка
SHARON STONE.

Зацелованный старый клоун,
что за мысли в мозгу моём брезжили:

ХОРОШО, ЧТО МЫ ВСЕ НЕ БРЕЖНЕВЫ.





СИКУХА

1

Поршень работает, работает поршень.
Великий, чавкающий и пошлый.

Отец, изнасиловавший малышку,
теперь уже не получит вышку...

Well, дочурку гад поимел.
Век — ох, well!

2

Скинувши ветошь джинсовки «Wrangler»,
мне исповедуешься, Мой Ангел,
смешав наив детских губ обмылок
с женской опытною ухмылкой:

«Отец растлил, посадил меня на кол,
всё разворотил и по пьяни плакал.
Я обогнала сверстниц в развитии —
презрительно.

За существованием вашим слежу с пелёнок,
неудовлетворяемый вампирёнок.
Вы испытали ли в детской кроватке
бешенство матки?

Смотрю сериал — «Бультерьер Ментов».
Знал толк в порнографии Лер-монтов.
За что мне лермонтовская скука?
Амбивалентная я «сикуха».

Для понта надела я мамино пончо.
Что ни начну, не умею кончить...

Нет у лётчиков керосина.
Неизлечима болезнью духа.
Нескончаемая Россия,
может, Ты, как и я — сикуха?!

Гасишь чинарик болотных почек,
что начинаешь, не можешь кончить.
В бок пырнёт, чуть левее сердца,
носорог, точно нож консервный.

В кухне спорщики собираются,
споря напрасно про протуберанцев.
Будущие фигуранты:
ЦРУ и СИГУРАНЦЫ.

Выйду на Кропоткинскую запорошенную,
работает порнопоршень.
Навстречу мне митрофановский рост —
выпускники свинофабрики звёзд.
Я пройду Россией, красивая сука,
слышу: «Сикуха!»

Народ укрощён, развращён из центра.
Пугачёвщина — лишь на сцене.
Расплачиваемся по-фарцовски
за удовольствия отцовские.

Люблю дороги под лунным скотчем —
начавшееся не кончится.

С детства сырихой меня изумил,
сивухой и Рихтером пахнувший мир.

Что я твержу тебе ежесекундно?
«Ты — пезасахаренная старуха,
ты — чемпионка духа, подруга!
Сакурой вешней цвети, сикуха!»

Нескончаема вода без крана.
Наша струящаяся страна —
нескончаемого страдания
нескончаемая страда.

3

Я в финале влюбилась,
следовательно:
в квартиру набились
менты и следователи.

Так сказать, моя встреча с прошлым.
Работает поршень.

Все глазают, как за окном,
Млечный Путь продёрнувши в ухо,
на асфальты летит сикуха,
изнасилованная отцом...





* * *

Пусть другие ваши рейтинги
обсуждают широко.
В самом страшном из столетий
нам с тобою — хорошо.
Хорошо, что нашей паре
по хую всё, ангел мой.
Хорошо, что мы совпали
не с эпохой, а с Тобой.





* * *

Хватапу в меру.
Нарру Новый Год!
Нарру New Year!
Нарру new Ева!
Нарру new God!

Вера в new Евро
по полной эропрограмме!
Неопогромы, цунами, Чечня —
и вся прочая хайня!

Нарру Нью-Йорки!
Нарру new ёлки!
Сердце ёкнет
от секс-двустволки!
Нарру new пихты!
Нарру хиппи!
Убийство в VIPe!
Нарру хулиган в кепи!
Граф Хулин ещё не в склепе!
Нарру new Russia!
Нарру неряшливый!

Нарру new Растипьяки!
Нарру неохристиане!

Нарру new Happiness!

Нарру new Star!
Нарру new пенис,
у кого он стар!

Он устал, —
пенистый
в небо швырни бокал!

Нарру new мои кошки!
Нарреning second hand!
Нарру new Маяковский,
первый русский skinhead!!

Нарру Жепя Дюрер!
Нарру дуры де-юре!
Нарру русская литература,
фурыкающая «Антифюрер»!

Нарру new веселье!
Нарру new печали!
Нарру все новоселья,
куда нас не звали!

Тайские бабочки,
мебель очковая!
Нарру new баночное!
Нарру new бочковое!

Нарру кондитерская Виченцы!
Чеченцы, ЧПенцы, ВИЧенцы!
Нарру хвойные стрелки минутные!

Нарру new Ньютон!
Нарру new Хэпбёрн!
Тому, кто не нуден,
пою молебен!

Нарру NEW АНГЛИЯ!
Нарру NEW АРБАТ!
Нарру падший ангел!
Нарру соблазняющий гад!

Нарру New Year!
Хряпну, но в меру!
Кто Властелин Колец?!
Дыхну в лицо милиционеру
полный списец!





Я – МОСКВИЧ

Дразня «москвичка, в жопе спичка!»,
вы остроумны и правы.
Я тоже чту и РЭП, и спиричуэлс,
но, вдруг, представьте, нет Москвы.

Нет ни толпы, ни трасс трассирующих,
ни долларовой ботвы...
Москва — это не вся Россия,
но нет России без Москвы.

Сейчас к ней ненависть в зените,
как к инфицированным ВИЧ.
Вы извините,
я — москвич.

Люблю амфирные окошки,
Останкина целебный шприц,
Блаженного торчащих ложкой
лукошки крашенных яиц.

Люблю я кич Moscow-City
и мельниковский зуботыч.
Вы извините,
я — москвич.

В мозгу останется Москва-река,
поэт со спутницей мускатною,
целующийся силуэт...
Как ты, Москва, тогда расквакалась!
Остался цел подлец-поэт!

А мог на елке у Свентицких
свинцовой почести достичь.
Вы извините,
я — москвич.

Москва подземная, которая
наш — в будущее переход,
где выпускник консерватории
на нищей скрипочке поёт.

Лица кавказские в транзите.
Вы русский — но ножом не тычь.
Вы извините,
не москвич?

Мелодиею из Винявского —
слетит на голову кирпич.
Вы, извиняюсь,
не москвич?

Когда нас вьюги заносили,
Москва хлопушкой была,
как слепок с гибнущей России,
как маска Пушкина бела.

Ну что ж, звоните, заходите!
Гость ненавязчив, как москит.
Вы извините,
я — москвич.

Живи, страна, стихи муссируя,
меня, как своего, браня.
Конечно, я не вся Россия.
Но нет России без меня.





АУРА

Я живу с Твоей аурой.
Твоя аура — алая.
Я люблю Твою ауру.

В годы мрака и траура,
как под дулом Макарова,
я забыл Твою ауру.

Распрягаются шорники.
Нету ауры в шопинге.
Шопенгауэр — в шокинге!

Ты живёшь внутри ауры
виноградную косточкой.
Из волшебного шарика
так достать Тебя хочется!

Все Твоё состояние —
для духовной парковки.
Куст крестовой сирени,
где листочки — пиковки.

Только всё это — алое:
стали пики червонными.

Я гляжу через ауру
Твоих глаз зачарованных.

Все зимой бабы круглые,
лепят их северяне.
Но они, красногрудые,
улетят снегирями.

Серый крестик сирени
стал крестом скорой помощи.
Обещает прощение
всем влюбившимся по уши!

К ауре не ревнуй меня!
Не грустите по фраеру.
Аура неминуема,
возвращусь в Твою ауру.





СОДЕРЖАНИЕ

И. Гринева. Когда потребует поэта... 5

ПЛАВКИ БОГА (Пятидесятые)

Первый снег	17
Дача детства	19
Фестиваль молодёжи	20
Первый лёд	22
Свадьба	23
Песня Офелии	24
Елена Сергеевна	25
«Сидишь беременная, бледная...»	27
Тайгой	28
Потерянная баллада	30
Ода сплетникам	33
«Друг, не пой мне песню про Сталина...»	35
Вечеринка	36

Параболическая баллада	38
Осень	40
Последняя электричка	42

ТИШИНЫ ХОЧУ!
(Шестидесятые)

Между кошкой и собакой	44
Бьют женщину	46
Противостояние очей	48
Мотогонки по вертикальной стене	50
Осень в Сигулде	52
Сирень «Москва-Варшава»	55
«Конфедераток тузы бесшабашные...»	57
Лобная баллада	58
«Я сослан в себя...»	60
Прощание с Политехническим	61
Рублевское шоссе	64
«Я — семья»	65
Итальянский гараж	66
Латышский эскиз	68
Длинноногого	70
Велосипеды	72
«Нас много. Нас, может быть, четверо...»	73
Стансы	75
Стрела в стене	76
Оленёнок	78

Оза	80
Большая баллада	102
Тишины	104
Бьёт женщина	106
Лень	108
Замерли	110
Баллада-яблоня	112
«Ты пролётом в моих городах...»	115
Зов озера	116
Ахиллесово сердце	119
«Прости меня, что говорю при всех...»	121
Не пишется	123
Ливы	125
На плотях	127
«Нам, как аппендицит...»	129
Напоили	132
Тоска	134
Снег в октябре	135
«Слоняюсь под Новосибирском...»	137
Роща	139
Конспиративные квартиры	141

ВАЙДАВАЙДАВАЙ
(*Семидесятые*)

Донор дыхания	143
Молитва	145
Сага	147

«Ну что тебе надо ещё от меня?..»	149
Новогоднее платье	151
Спальные ангелы	153
«Наш берег песчаный и плоский...»	155
«Сложи атлас, школярка шалая...»	156
Автомат	158
Водная лыжница	160
Две песни	
1. Он	162
2. Она	164
«В человеческом организме...»	165
Петрарка	166
Апельсины	167
«Ты поставила лучшие годы...»	169
Старофранцузская баллада	170
«Мы нарушили Божий завет...»	171
Старая фотография	173
«На суде, в раю или в аду...»	174
Заповедь	175
«Стихи не пишутся — случается...»	177
Сначала	178
Говорит мама	180
Художник и модель	181
«Тираны поэтов не понимают...»	182
«Я не ведаю в женщине той...»	183
«Теряю свою независимость...»	184
Порнография духа	186

«Не возвращайтесь к былым возлюбленным...»	188
Романс	190
Ностальгия по настоящему	191
«Не отрекусь...»	193
Беловежская баллада	195
Звезда	197
Хобби света	199
Смерть	201
Пьета	202
Уездная хроника	203
Скульптор свечей	206
Е. W.	208
Русско-американский романс	209
Пароход влюблённых	210
«Неужто это будет всё забыто...»	211
Тарковский на воротах	212
Мулатка	215
Безотчётное	217

Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
(*Восьмидесятые*)

Монахиня моря	219
Миллион роз	221
Воздушные лыжи	223
В тополях	225
Кузнечик	227

Сон	229
Мать	232
Первая любовь	235
«Тебе на локоть села стрекоза...»	236

ЖЁЛТЫЙ ДОМ
(*Девяностые*)

Повторный ангел	237
«Мы от музыки проснулись...»	239
Мотыльковый твой возраст	240
Исповедь мордовской мадонны	241
Улёт 1	244
Улёт 2	246
Древо Бо	248
Шалаанда желаний	252
«Розы ужасом примяты...»	253
Домой!	254
«Тьма ежей любого роста...»	255
«Я тебя очень... Мы фразу не кончим...»	256
Эпистола с эпитафией	257
Жемчужинка	258

РАУРА
(*Двухтысячные*)

Самокаты	260
«Нас дурацкое счастье минует...»	262
Первый в жизни снег	263

XXL	264
Золотая синева	267
Дочь художника	269
Теряю голос	271
Бульвар в Лозанне	274
Осень Пастернака	275

НОВЫЕ СТИХИ

Озеро Жалости	279
Соскучился	281
Плохой почерк	283
Премьера	285
Иван-царевич	287
Ю. Д.	280
Хобби	290
Проктолог — отоларингологу	291
«Ландышевый дом...»	293
Ода моей левой руке	295
«Ты, поклоняясь меня щекочешь...»	298
Х. В.	299
Песенка	303
«Я хочу Тебя услышать...»	304
Прощай, сайгачонок!	305
Семидырье	307
Не покидай меня. <i>Романс</i>	309
Стихи, написанные в клинике	311

ГЕНИАЛЬНАЯ ОШИБКА

Весёленькие строчки	313
Я другому виной	314
Дирижёрка	316
Виртуальное вручение	318
Красивая стоматолог	321
Памяти Наташи Головиной	323
Ради тебя	325

ГВОЗДЬ ОТ ДРУГОЙ СТЕНЫ

«Я думал, Ты — звёздная женщина»	327
Стасу Намину	328
Сикуха	331
«Пусть другие ваши рейтинги...»	334
«Хватану в меру...»	335
Я — москвич	338
Аура	341



Литературно-художественное издание

Андрей Вознесенский

СТИХИ О ЛЮБВИ

Ответственный редактор *А. Корина*
Художественный редактор *А. Новиков*
Технический редактор *В. Бардышева*
Компьютерная верстка *О. Шувалова*
Корректор *О. Благова*

ООО «Издательство «Эксмо»
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел. 411-68-86, 956-39-21.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Подписано в печать 29.05.2008.
Формат 70x90¹/₃₂. Гарнитура «Петербург».
Печать офсетная. Бумага тип. Усл. печ. л. 12,87.
Тираж 5000 экз. Заказ № 8191.

Отпечатано в ОАО «Тульская типография».
300600, г. Тула, пр. Ленина, 109.

Оптовая торговля книгами «Эксмо»:
ООО «ТД «Эксмо», 142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел. 411-50-74.
E-mail: reception@eksmo-sale.ru

**По вопросам приобретения книг «Эксмо»
зарубежными оптовыми покупателями
обращаться в ООО «Дип покет»
E-mail: foreignseller@eksmo-sale.ru**

**International Sales: International wholesale customers should contact
«Deep Pocket» Pvt. Ltd. for their orders foreignseller@eksmo-sale.ru**

**По вопросам заказа книг корпоративным клиентам,
в том числе в специальном оформлении,
обращаться в ООО «Форум»: тел. 411-73-58 доб. 2598.
E-mail: vpzakaz@eksmo.ru**

**Оптовая торговля бумажно-беловыми
и канцелярскими товарами для школы и офиса «Канц-Эксмо»:**
Компания «Канц-Эксмо»: 142700, Московская обл., Ленинский р-н,
г. Видное-2, Белокаменное ш., д. 1, а/я 5.
Тел./факс +7 (495) 745-28-87 (многоканальный).
e-mail: kanс@eksmo-sale.ru, сайт: www.kanс-eksmo.ru

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» для оптовых покупателей:

В Санкт-Петербурге: ООО СЗКО, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.
Тел. (812) 365-46-03/04.

В Нижнем Новгороде: ООО ТД «Эксмо НН», ул. Маршала Воронова, д. 3.
Тел. (8312) 72-36-70.

В Казани: ООО «НКП Казань», ул. Фрезерная, д. 5. Тел. (843) 570-40-45/46.

В Самаре: ООО «РДЦ-Самара», пр-т Кирова, д. 75/1, литера «Е».
Тел. (846) 269-66-70.

В Ростове-на-Дону: ООО «РДЦ-Ростов», пр. Стачки, 243А.
Тел. (863) 268-83-59/60.

В Екатеринбурге: ООО «РДЦ-Екатеринбург», ул. Прибалтийская, д. 24а.
Тел. (343) 378-49-45.

В Киеве: ООО ДЦ «Эксмо-Украина», ул. Луговая, д. 9.
Тел./факс: (044) 501-91-19.

Во Львове: ТП ООО ДЦ «Эксмо-Украина», ул. Бузкова, д. 2.
Тел./факс: (032) 245-00-19.

В Симферополе: ООО «Эксмо-Крым» ул. Киевская, д. 153.
Тел./факс (0652) 22-90-03, 54-32-99.

В Казахстане: ТОО «РДЦ-Алматы», ул. Домбровского, д. 3а.
Тел./факс (7272) 251-59-90/91. gm.eksmo_almaty@arna.kz

Мелкооптовая торговля книгами «Эксмо» и канцтоварами «Канц-Эксмо»:

117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1. Тел./факс: (495) 411-50-76.

127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 2. Тел.: (495) 780-58-34.

Полный ассортимент продукции издательства «Эксмо»:

В Москве в сети магазинов «Новый книжный»:

Центральный магазин — Москва, Сухаревская пл., 12.

Тел.: 937-85-81, 780-58-81.

Волгоградский пр-т, д. 78, тел. 177-22-11; ул. Братиславская, д. 12.
Тел. 348-99-95.

В Санкт-Петербурге в сети магазинов «Буквоед»:

«Магазин на Невском», д. 13. Тел. (812) 310-22-44.



ISBN 978-5-699-28005-6



9 785699 280056 >